

Андрей  
КуРКОВ

БИКФОРДОВ  
МИР



FOLIO

# Андрей Курков Бикфордов мир

*Текст предоставлен издательством  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4418495](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4418495)  
Бикфордов мир: Фолио; Харьков; 2011  
ISBN 978-966-03-5062-5*

## **Аннотация**

"Бикфордов мир" – это очень серьезная и очень грустная сказка, сюжет которой пересказать непросто. Главные ее темы – память и страх. Память о детстве, о прошлой жизни, о разочаровании в реальном мире, боязнь любых перемен, отсутствие желаний, комплекс вины и бессилия перед жизнью. Роман жесток, абсурден и абсолютно логичен. Мы все привязаны к бикфордову шнуру в этом взрывающемся мире и тянем его за собой всю жизнь.

# Содержание

1	4
2	9
3	11
4	13
5	16
6	21
7	31
8	45
9	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Андрей Курков

## Бикфордов мир

«Кому на Руси жить?..»

Н. Некрасов

### 1

Город спал чутко. Ему снилась рыба. Огромная и широкая рыба-камбала, за которой и неба не видно. А раз она небо закрывала, значит, желала городу добра. Город давно мечтал о добре. Одностенные дома-инвалиды панически боялись ветра, а домов-инвалидов боялись люди, обходя их за квартал. Высокие «одностенки» напоминали поставленные ребром в высоту костяшки домино. Всем казалось, что если одна такая костяшка рухнет, то и другие одна за другой повалятся, подняв грохот и пыль.

Но ветра не было. «Одностенки» стояли неподвижно.

Город спал.

Ему снилась рыба.

В полтретьего ночи чуткий сон города был потревожен. В одном из полуразрушенных дворов завелся мотор большой черной машины. Потом она включила фары и выехала на улицу. Город призажег одно окно и проводил ее взглядом. Он знал эту машину. Она не желала ему зла.

И город снова заснул.

Машина, урча мотором, остановилась у КПП. Оттуда вышел человек в военной форме, посветил фонариком в кабину, молча кивнул и поднял шлагбаум.

– Кто там проехал? – спросил лежащий на выставленных под стеной стульях напарник.

– Прожекторщики, – дежурный по КПП зевнул и сел за стол, освещенный электролампой, чтобы опять тупо уставиться в открытую посередине книгу. Читать он не мог из-за своего сонного состояния. Он просто выискивал самые короткие и самые длинные по протяженности слова, не читая их.

Не спеша, ощупывая фарами грунтовую дорогу, машина все дальше и дальше отъезжала от города.

В кабине сидели двое.

– Мне кажется, она должна сужаться на востоке! – предположил пассажир, глядя на огонек своей папиросы.

– Не верится... – спокойно ответил шофер, не отвлекаясь от езды.

– Тогда почему дирижабли не поднимаются в воздух?!

Шофер усмехнулся.

Вдруг что-то звякнуло, ударившись о капот.

– Опять! – шофер нажал на тормоза и тяжело вздохнул.

– Ничего удивительного, – безразлично произнес пассажир. – Это только лишнее доказательство.

Они вышли из кабины. Шофер провел пальцем по неглубокой вмятине на капоте и с опаской посмотрел на невидимое черное небо.

– Ну что, поедем дальше?! – то ли спросил, то ли предложил пассажир.

Шофер колебался. Он прикусил в раздумье нижнюю губу и не отвечал. Потом молча залез в кабину и завел мотор.

Пассажир занял свое место, вопросительно глянув на товарища.

– Ладно... – неуверенно промышчал тот, и они поехали.

– Жалко, что Горыча шлепнули, – после паузы сказал пассажир и чиркнул спичкой, снова закуривая.

– У тебя «Беломор»? – спросил шофер.

Пассажир протянул папиросу.

– Это мы виноваты, – мрачно сказал шофер после глубокой затяжки. – Не надо было идти у него на поводу. До сих пор бы втроем ездили!

– Да, – кивнул пассажир.

– А ты уверен, что его расстреляли?!

– По законам военного времени... – монотонно процитировал пассажир примелькавшуюся в городских объявлениях фразу.

– Ничего, нас накроют – тоже «по законам военного времени». К Горычу отправимся, – шофер выдохнул папиросный дым и включил дворники.

– Ты чего? – удивился пассажир.

– Мотор тихий, – объяснил шофер. – А мне эта маскировочная тишина уже вот где сидит! – и он провел указательным пальцем по горлу.

Пассажир пожал плечами.

Грунтовая дорога уходила в холмы. Машина шла медленно, слепо следуя наезженной колее. Свет фар выхватил на обочине дороги деревянный грибок – довоенную автобусную остановку. Прямо на земле под ним сидел человек, прислонившийся спиной к «грибной» ножке. Увидев машину, он вскочил на ноги, и в его руках появился автомат. Человек сделал шаг из-под грибка и пустил очередь в воздух, приказывая машине остановиться.

– Кажется, попались! – упавшим голосом произнес шофер и нажал на тормоз.

– А если резко вперед и сбить его к чертовой матери?! – предложил пассажир.

– Это же не легковушка! Один кузов чего стоит, и в кузове еще тонна!

Тем временем человек подошел к кабине со стороны шофера, дернул на себя дверцу, отступил и крикнул:

– Выходи на расстрел!

Шофер прищурился, стараясь высмотреть лицо напавшего, но разглядел только военную форму, такую же, как и на них. Слишком знакомым показался голос незнакомца.

– Потуши фары! – прошептал пассажир.

Шофер внезапно обрадовался. Как эта мысль не могла прийти ему сразу?! Он отключил фары – и темнота мгновенно заполнила освобожденное от света пространство.

Шофер и пассажир сидели неподвижно, смертельно боясь выдать себя пусть даже едва слышным шорохом.

– Вы это зря, ребята!..

– Так это же... – зашептал пораженный пассажир, – это же Горыч!

– Откуда? С того света? – возразил шофер.

– Горыч! – негромко выкрикнул пассажир.

– Узнали наконец! – донеслось из темноты. – Но я вас раньше узнал!

Шофер включил фары и свет в кабине. У открытой дверцы появилось знакомое небритое лицо.

– Так тебя что?.. – уставился на него шофер.

– Что-что? Ясное дело. Пообещали в расход, но не успели. Я конвойного стукнул, автомат забрал – и в темноту!

– Значит, тебя ищут, – кивнул пассажир.

– Да. Мне теперь только туда можно, – и Горыч показал пальцем на небо.

– Туда еще попасть надо! – усмехнулся шофер. – Залезай в кузов под брезент.

– А вы сейчас куда?

– На восток, – ответил пассажир. – Хотим там проверить.

Машина снова поползла по холмам.

– Хорошо, что у него автомат! – сказал пассажир. – Но плохо, что погоны с гимнастерки сорваны. Первая проверка – и всех нас «по законам военного времени».

– Так давай и мы погоны сорвем! – предложил шофер. – Плечи облегчим, чтобы...

– Нет, мы все-таки на задании...

– Рассмешил! – ухмыльнулся шофер.

В заднюю стенку кабины настойчиво забарабанили. Шофер тормознул и открыл дверцу.

– Чего тебе?

– Приехали! – ответил Горыч.

– Ты уверен?

– Мне показалось, что я увидел.

Сидевшие в кабине обменялись ехидными взглядами, потом дружно вышли.

– Расчехляй! – скомандовал шофер.

Горыч затрещал брезентом, запыхтел от напряжения.

Шофер и пассажир полезли в кузов помогать. Натренированными за несколько лет движениями они стянули брезентовый чехол с огромного прожекторного барабана и сложили его в угол кузова.

Горыч тщательно протер тряпкой стеклянную поверхность.

– С Богом! – почти шепотом напутствовал пассажир.

Шофер нагнулся и щелкнул тумблером. Внутри прожектора зародилась огненная точка и постепенно стала расползаться по рефлекторной стенке.

– Давай его вертикально! – предложил Горыч.

Шофер согласился. Они ослабили зажимы, выровняли барабан так, чтобы луч шел перпендикулярно земле, и снова закрепили.

Прожектор медленно оживал. Сначала в небо уходил едва заметный столбик рассеянного света, минут через пять свет сфокусировался и стал ярким и монолитным. Столб все выше поднимался над землей. Горыч, шофер и пассажир напряженно, задрвав головы, следили за ним.

– Долго разогревается, – покачал головой Горыч.

– Элемент старый, – кивнул шофер.

– Зато остывает еще медленнее, – вздохнул пассажир. – С этой штукой мгновенно во тьме не растворишься! Лучше отойти.

Они отступили метров на двадцать от машины.

Луч медленно поднимался вверх. Вдруг он остановился, словно наткнувшись на некую непрозрачную преграду.

– Что я говорил! – радостно воскликнул пассажир.

Шофер и Горыч молчали. Шофер устал напрягать шею. Он опустил голову и помассировал себе затылок.

– А что толку, если даже ты прав?! – неожиданно спросил он пассажира.

Пассажир перестал улыбаться и как-то дико глянул на шофера.

– Как?! Но это же единственный выход! – начал было объяснять он.

– Вижу, – отрывисто и громко сказал Горыч.

Пассажир победоносно посмотрел на шофера.

Шофер бросил взгляд вверх.

– Да, похоже, что ты прав... – тихо проговорил он. – Ну а дальше?

Со стороны города донесся орудийный залп и через мгновение снаряд, словно мушка, метнувшаяся перед пламенем свечи, прошел поперек яркий световой столб прожектора и разорвался впереди на грунтовке. Комья земли и осколки глухо затарахтели по земле и машине. Сразу же бросившись наземь, прожектористы вжались в неподатливую неживую почву, лишённую даже самой насущной травы.

Снаряды посыпались один за другим. Столб света послужил для обезумевшего командира артиллерийской батареи сигналом к открытию огня. Трудно остаться в своем уме, когда уже три года продолжается повышенная боевая готовность при полном отсутствии военных действий.

Горыч вскочил и сломя голову понесся к машине. Шофер, приподнявшись, смотрел ему вслед, а пассажир берег лицо на светлое будущее. Смелчак запрыгнул на кузов и щелкнул тумблером.

Световой столб стал опускаться и рассеиваться, смешиваясь с темнотой.

Горыч неуклюже перегнулся через борт и прыгнул вниз.

Следующий снаряд поднял в небо несколько кубометров глинистой почвы и разбросал вокруг. Ком глины величиной с хороший херсонский арбуз ударил пассажира по позвоночнику между лопаток. Пассажир икнул и замер. Ему показалось, что мгновенный паралич сковал все его члены, и хоть он полностью ощущал в себе наличие сознательной жизни, пользоваться ею никак не мог.

Пассажир тупо уставился во мрак, именовавшийся землей. Кончиком носа он явственно ощущал ее безразличный холод, но глаза ничего перед собой не видели. Пассажир вдруг захотел сцепить от нахлынувшего отчаяния зубы, но и это ему не удалось. Послушными оставались только глаза, которые он мог свободно открывать или закрывать по своему усмотрению. Ему вдруг стало противно от такой ограниченной свободы: и при закрытых, и при открытых глазах картина увиденного не менялась. Он еще мог думать, но только очень злобно. Но, будучи человеком добрым, так думать ему не хотелось, и он закрыл глаза.

Шофер и Горыч подползли к пассажиру сразу, как только поняли, что обстрел со стороны города прекратился.

Они перевернули пассажира лицом к небу.

– Дышит! – облегченно сказал шофер.

– Контузило, – Горыч зажег спичку и поднес ее к глазам пассажира.

Глаза недовольно сощурились и закрылись.

– Давай его в машину! – скомандовал шофер.

Стараясь двигаться как можно аккуратнее, они отнесли друга к кабине. Открыли дверцу и решили посадить его на мягкое сиденье. Как только попробовали его усадить, пассажир отчаянно выкрикнул свою боль и обмяк. Шофер и Горыч снова опустили его на землю.

– Позвоночник... – вздохнул шофер.

– Надо его в кузов!

С грехом пополам друзья подняли пассажира наверх, сложили в несколько слоев брезентовый чехол и уложили на него раненого. Накрыли его тоже брезентом.

От прожектора шло сильное тепло: металл успел хорошо разогреться, и должно было пройти не меньше часа, прежде чем он остынет.

Горыч с шофером забрались в кабину. Шофера пробрала дрожь. Он нерешительно дотронулся до руля, потом отвел руку и включил кабинный «светлячок». Маленькая лампочка, вспыхнувшая с внутренней стороны лобового стекла, разделила темноту на два цвета: серый и черный. Но даже от такого микроосвещения шофер зажмурился и долго не хотел открывать глаза.

Когда же все-таки открыл – поймал на себе тоскливый взгляд Горыча.

– Надо ехать, – твердо, словно возражая, сказал Горыч.

– Куда? – выдавил из себя шофер.

Горыч указал взглядом на лобовое стекло.

– Вперед и с выключенными фарами, – после короткой паузы объяснил он свой взгляд.

– В полной темноте?! – ошарашенно переспросил шофер.

– А ты хочешь еще раз подразнить городскую артиллерию?

– Ладно, – смирился шофер. – Только давай заранее попросимся друг с другом и с ним. Потом можем не успеть. Уж очень мне это напоминает путешествие по минному полю.

– Мне вся моя жизнь напоминает путешествие по минному полю, но я никогда ни с кем заранее не прощаюсь, – грустно улыбнулся Горыч. – Лучше уходить по-английски...

Прощание с пассажиром было коротким. Он лежал на брезенте с закрытыми глазами. Разница между бодрствованием и сном потеряла для него свое значение. Шофер и Горыч пожали вытянутую вдоль туловища руку и, присев рядом с пассажиром на корточки, раскурили по «беломорине». Докурив, вернулись в кабину.

Мотор завелся. Слепая машина медленно поползла вперед.

## 2

На морской глади безвольно покачивалась грузная баржа-самоходка. Свисал с невысокой радиомачты обмякший от безветрия флаг военно-морских сил, а на палубе молча сидели два матроса. Один был рыжий, в веснушках и с бородой. Второй – сразу видно, что почитатель устава, – был гладко, до синевы, выбрит, коротко, а местами и наголо самоострижен, ко всему прочему сидел он так ровненько, словно ему дали команду «смирно!», разрешив при этом не вставать. Его лицо, не выдававшее даже при разговоре или споре никаких настроений и эмоций, так и просилось маленькой фотографией в любой официальный документ, дававший право или разрешающий действие.

– Харитонов! По возвращении я напишу на тебя рапорт! – совершенно равнодушным голосом, но безукоризненно по-русски говорил уставной матрос. – Ты не выполнил за последние два месяца ни одного моего приказа!

– Да ну... – устало вздохнул рыжий. – Но ведь нет никого! Машина сдохла смертью храбрых. Если бы я все эти два дрейфовых месяца брился к утренней поверке, мы бы...

– Что «мы бы»? – равнодушно перебил уставной.

Рыжий махнул рукой и отвернулся. Перед глазами второго появился патлатый затылок.

– Младший матрос Харитонов!

– Я, – не оборачиваясь, отозвался рыжий.

– Приказываю спустить флаг!

Рыжий обернулся и недоуменно заглянул в прищуренные от внутреннего размышления глаза старшего матроса.

– По флагу нас может обнаружить вражеская авиация, – монотонно произнес уставной.

– И то правда, – Харитонов поднялся и потянулся к радиомачте. – Два месяца ничего вражеского. И своего ничего. Должно же это кончиться!

– Поменьше рассуждай, Харитонов. Флаг снял?

– Да. И куда его теперь?

– Заверни во что-нибудь и всегда имей при себе!

– Послушай! – дружелюбно заговорил рыжий. – Может, ты мне все-таки скажешь: что случилось? Мы с тобой выросли вместе, вместе работали, вместе пошли на флот, когда гады напали. Попросились на один корабль. Ну достался нам этот лапоть, но ведь уже пятый год война и пятый год мы делаем свое дело. И пятый год ты как деревянный истукан...

– Прекращай, Харитонов! – перебил его уставной. – Я – старший, я отвечаю за груз и за судно, а ты – моя команда, поэтому и должен выполнять все мои команды. Понятно?

Харитонов провел пальцами по своей бороде.

«Нет чтоб лопатой вырасти! – подумал он. – А так какая-то саперно-лопаточная! Можно подумать, что баржа перевернется, если я бриться не буду!»

Над судном закричали чайки. Они привыкли летать за кораблями и ловить на лету подброшенный корм. Но этот корабль не плыл. Чайки кружились над ним, опускаясь все ниже и ниже. Одна села на радиомачту.

– Харитонов! – позвал уставной и многозначительно указал взглядом на крикливых птиц.

Харитонов понял, вздохнул, поднял с палубы автомат и, не целясь, с пояса выпустил очередь в чаек. Чайки, испуганно закричав, взмыли к безоблачному небу.

– Опять ни в одну не попал, – мрачно констатировал старший матрос. – Сколько патронов осталось?

– Три магазина, – ответил Харитонов.

– Не густо... Ладно. Спустишь в трюм и проверь груз.

Рыжий вяло поднялся на ноги. Он посмотрел на солнце и, замерев и прищулив глаза, подставил его теплу свое веснушчатое бородатое лицо.

– Уйди куда-нибудь! – утомленно попросил старший матрос.

– Слушаюсь... – шепнул сам себе рыжий и поплелся на бак.

Последний раз они видели землю больше двух месяцев назад, когда, получив на борт очередной груз динамита и бикфордова шнура, поздней ночью отвалили от притопленного причала и взяли курс на изученную за четыре года назубок часть побережья, где свои ребята во вражеском тылу занимались обычным военно-диверсионным делом. Сколько всего они перетасили на своей самоходной барже к месту выгрузки – не сосчитать. Сосчитать можно было, к удивлению, лишь немногочисленные налеты вражеской авиации, пару увиденных на горизонте неизвестно чьих крейсеров и несколько десятков штормов. Как раз последний из них и стал причиной их уже более чем двухмесячного мотания по водам и волнам: сначала о какой-то подводный камень срезало винт, а позже машина и вовсе стала, хотя без винта она и так мертвая!

Харитонов все четыре года думал об одном и том же: все пытался объяснить себе, каким образом и из-за чего Федька Грицак, Федька, с которым вместе рос, вместе рыбачил на родном озере Лача, так изменился, как когда-то изменился дед Харитонова, узнав, что Бог – это опиум, а зимняя церковь – набор хорошего кирпича для кладки рыбачьих печей. Но про Бога и про церковь говорили с трибуны. А кто и с какой трибуны сказал Грицаку, что Харитонов, моторист единственного на Лаче парохода «Никитин», сразу после мобилизации на войну объявляется, мягко говоря, полудурком?! Харитонов этого не слышал. Честно говоря, он очень сомневался, что кто-то мог взять на себя смелость заявить такое пусть даже одному Федьке Грицаку. Харитонов вообще любил сомневаться. Любил он это не от отсутствия уверенности в правильном понимании всего происходящего, а, наоборот, из-за постоянных попыток сравнить свое понимание момента с пониманием других людей. Пятый год он был лишен возможности сравнивать различные понимания, но тем сильнее в нем развилось умение сомневаться и из собственных сомнений делать выводы. В детстве, первый раз увидев и взяв в руки газету, но еще не умея хорошо читать, он лизал языком непонятное слово, напечатанное жирным черным шрифтом, чтобы по его вкусу понять значение. И хоть вкус свинцовой типографской краски не принес ожидаемого открытия, привычка все познавать собственными силами осталась у Харитонова на последовавшую вскоре взрослую и отчасти сознательную жизнь.

Он спустился в кубрик, рассчитанный на десять человек, и улегся на свою койку «верхнего яруса». Где-то идет война, а у них уже третий месяц длится вынужденный мир. Так распорядилась механическая природа сложных отношений между камнем, железом и морем. Она могла бы распорядиться иначе – и тогда их кусок железа, груженный динамитом и бикфордовым шнуром, давно бы почил на каменном дне Японского моря.

Харитонов хотел заснуть, но перед тем, как закрыть глаза, каждый раз пытался вспомнить какую-нибудь очень важную мысль, оставленную на потом для додумывания или домысливания. От физического и умственного бездействия голова словно опухала, переизбыток всяческих мыслей и их шипящее изобилие часто делали сон беспокойным.

### 3

Позади остались десятки километров полной темноты. Может быть, они остались не только позади, но и впереди. Машина ехала в темноте, мимо темноты, в дальнейшую темноту. Шофер интуитивно покручивал руль, прислушиваясь к дороге. Ему уже казалось, что он видит ее, эту дорогу. Ему уже казалось, но на самом деле он не видел даже Горыча, сидящего рядом. Только слышал его покашливание, ерзанье. Кабинный «светлячок» они потушили, экономя истекающий слабым током аккумулятор. Оба смотрели только вперед, смотрели вперед и молчали, потому что разговор в темноте можно сравнить лишь с телефонным разговором, когда собеседников двое, а слушающих – неизвестное количество.

Шофер облизал сухие губы и прикрыл глаза.

Он почувствовал себя одиноким уставшим путником. Захотелось спать.

Горыч снова закашлял.

Шофер напрягся, прогоняя сон, и тут еще неосознанная тревога взбудорила его. Еще не понимая причины своего испуга, он включил «светлячок». Прислушался. Услышал скрип деревянных бортов кузова.

Вот что его удивило и насторожило! Никогда прежде он не слышал этого скрипа. Не потому, что борта раньше не скрипели. Просто шум мотора всегда заглушал остальные шумы, но сейчас мотор молчал...

Шофер дернул вверх ручной тормоз.

– Эх, дороги, холод да туман... – замычал во сне Горыч.

– Проснись! – шофер дернул его за плечо. – Приехали.

Тот протер глаза.

– Тихо как!

– Да, – кивнул шофер. – Громко уже не будет: бензин кончился.

– Так что, дальше не поедем?

– Ну почему?! Мы уже часа два ехали без мотора. Наверно, под уклон. Так что если уклон сохранится – так и дальше поедем.

– Под уклон?! – Горыч задумался. – Тогда дай бог, чтоб этот уклон не кончился...

Не сговариваясь, они вышли из кабины.

Шофер потопал ботинками по земле, удивляясь ее твердости и неподатливости.

– Есть хочется... – признался Горыч.

– Сухари в ящике с инструментом, – сказал шофер, забираясь в кузов.

– Ты помнишь, в каком конце неба находилась Малая Медведица?

Шофер этого не знал. Звезды он помнил, видел их часто на небе в довоенное время, но с тех пор, как все началось, позабыл не только о них, но и обо всех природных светилах.

– Брось спички! – крикнул он Горычу.

Коробок упал на брезент, под которым лежал контуженный пассажир.

Зажглась спичка. Шофер сдвинул брезент и осветил лицо пассажира.

Горящая спичка задрожала в руке над пожелтевшим лицом.

Шофер бросил ее за борт машины.

– Умер, – сказал он.

Горыч промолчал, переминаясь с ноги на ногу. Потом выдавил из себя: «Земля очень твердая».

– Странно, – продолжил он. – А ведь я и забыл о том, что он с нами. Думал, что вдвоем едем...

– И я забыл, – признался шофер. – Я сейчас включу свет.

Он щелкнул тумблером прожектора и замер. Под стеклом зародилась искорка и принялась рассеивать внутренний мрак. Шофер смотрел на нее не моргая. Глаза болели, слезились, но он не отводил взгляда от медленно зарождавшегося света.

Минут через пятнадцать прожектор нагрелся и столб света не спеша стал подниматься вверх.

Темнота посторонилась, у машины появились очертания. Горыч увидел землю под ногами и присел на корточки. Погладил ее ладонью, поднес ладонь к глазам, дунул... Потом взглянул на фигуру шофера, четко подсвеченную прожектором.

– Тихо как! – снова удивился Горыч.

– Давай снимем его! – прошептал шофер.

Горыч встал на колесо, забрался в кузов. Отодвинул с лица пассажира брезент и застыл, глядя в открытые глаза умершего.

– Он сам захотел ехать с тобой? – Горыч повернулся к шоферу.

– Да.

– А ведь он не верил в это... Раньше не верил.

– А потом поверил, – ответил шофер. – Было очень темно. Надо было во что-то поверить.

– Ладно, – выдохнул Горыч, словно согласившись с какой-то неприятной мыслью.

Они открыли задний борт и опустили тело на землю.

В машине была только одна лопата.

Сухая земля сопротивлялась, словно уже прятала в себе что-то.

Первым копал шофер. Горыч углубил могилу. Рука уходила в нее по локоть.

Пассажира уложили в землю лицом вниз.

– Так лучше, – сказал шофер. – Если появятся птицы – не смогут выклевать ему глаза.

Горыч согласился.

Сверху присыпали пассажира землей, но плечи все равно выглядывали.

– Как его звали? – спросил Горыч.

Шофер пожал плечами и горько усмехнулся.

– Я ведь и твоего имени не знаю.

Горыч кивнул.

– Когда-нибудь все это кончится, даже если мы зря ищем... – сказал он, встал с колен и уставился на луч прожектора.

– Здесь ничего. Можешь вырубить.

Шофер забрался в кузов и щелкнул тумблером.

Хлопнули дверцы машины. Снятая с ручного тормоза, она медленно покатила вперед, увозя в неизвестном направлении затухающий луч.

Шофер, облокотившись на руль, привыкал к новому для себя звуку – скрипу деревянных бортов кузова.

Горыч дремал.

## 4

Какая ночь! Полированный штиль, спящая морская гладь. Спрыгнуть бы на нее, надев на тельняшку черный пиджак с воротничком «под горло», спрыгнуть и пойти, оставляя за собой не следы, а круги на воде, расходящиеся и постепенно затухающие, как вокруг поплавка при клеве. Только надо не забыть книгу – без нее я не смогу отыскать писателя, с которым говорить будет трудно, он ведь умный... А умные чаще неразговорчивы. Надо уговорить его еще одну книгу написать. Там у него «Дирижабли и их военное применение», а надо, чтобы «Дирижабли и их мирное применение». Всего-то. Ночка-ночь, пройдет с глаз прочь, только бы штормок не принесла. Озеро лучше, чем море. Там дом близко. А ведь действительно ночь – самое безопасное время! Вот сейчас тут появляется белый дирижабль... нет, не белый, белый сразу сobbyют. Появляется черный дирижабль, и даже я его не замечаю, а он медленно, выключив мотор и пользуясь попутным ветром, пролетает над баржей в куда-то направленном направлении... Хорошо бы с ним и письмо отправить... «Уважаемый товарищ писатель П. Ионов! С интересом познавательного характера около десятка раз перечитал вашу книгу и очень хочу с вами не согласиться. Конечно, военное время требует от дирижаблей только военного применения, но мы-то живем из расчета на мирную жизнь, и из этого расчета кажется мне, что вы не совсем правы. Я вас ни в чем бы не упрекнул, если бы эту книгу вы написали в этом или в прошлом году. Но ведь она написана в 1933-м! А какая тогда была война? Тогда была коллективизация! Тогда все нуждались в другой книге, которую вы не написали! А раз вы ее не написали, то и говорить, стало быть, не о чем. Но все-таки сравните: дирижабль прокрадывается над ночным городом и бросает бомбы в спящие дома или дирижабль над огромным полем распыляет семена пшеницы. Почему же вы написали только о бомбах, о военной разведке? Очень вас прошу написать вторую книгу. Вы же писатель, а значит, каждую вашу книгу претворяют в жизнь. Если такую книгу напишете – пришлите ее мне домой после войны по адресу: Архангельская обл., город Каргополь, пристань, пароход «Никитин», Харитонову. С уважением и пожеланием». Вот жизнь военная: спешить некуда, горизонты чистые, рацию забрали еще перед первым рейсом, а радиомачту оставили. Был на ней флаг, а теперь его нет, теперь я вместо флагштока.

Харитонов на третьи бессонные сутки стал проваливаться в дрему. Старший матрос Грицак, не дай ему Бог здоровья, не мог простить своему же земляку неповиновения и неисполнения команд. В чем-то Грицак, конечно, был прав: где вы видели матроса с рыжей бородой или вообще с бородой? Грицак его видел перед собой каждый день и так внутренне из-за этого расстраивался, что переставал чувствовать себя командиром. А для того, чтобы почувствовать себя командиром снова – надо было наказать младшего матроса. Вот Грицак и гонял его по двадцать четыре часа в сутки, а чтобы тот без спросу не отдыхал – сам Федор Грицак старался быть постоянно рядом. Он сидел на корме рядом с Харитоновым и смотрел в утренний горизонт. Федор тоже то и дело проваливался в дрему, и вот перед очередным провалом он заметил на горизонте черную точку. Грицак собрался с силами, открыл глаза, достал из своей полевой сумки бинокль и приставил окуляры к уставшим глазам.

Точка оказалась лодкой, полной гитлеровцев.

– Харитонов! – через силу выкрикнул Грицак. – Принеси из кубрика ящик гранат!

Рыжебородый, шатаясь, заковылял к кубрику. Принес ящик и спросил:

– А зачем?

– Вражеская атака. Прицепи флаг к радиомачте! Стой! Отставить!.. Нет, цепляй!

Харитонов терпеливо дослушал до конца и выполнил приказ. Теперь и он уже видел небольшую шлюпку с десятком немецких матросов, едва шевеливших веслами в их направ-

лении. На вражескую атаку это было не похоже, тем более, что, приблизившись до метров трехсот, они что-то закричали и замахали руками.

– Кажется, сдаются! – самодовольно произнес старший матрос.

Немцы опять взялись за весла, а один из них поднял в руке автомат, к дулу которого была привязана белая тряпка.

– Раз, два, три... – считал немцев Грицак. – Восемь гадов и ни одного офицера...

– Вир капитулирен! – хрипло закричал один из немцев.

– Это хорошо... – кивнул старший матрос.

Немцы опустили весла на воду метрах в десяти от борта баржи и напряженно-выжидающе смотрели на двух советских матросов, один из которых показался им очень дикого вида и нрава, а второй, гладко выбритый и державший автомат за ремень, не вызывал явного беспокойства. Немцы негромко посовещались и стали на виду у Грицака и Харитонова бросать в воду свои автоматы.

Грицак опустился на корточки возле гранатного ящика и, сощурившись, наблюдал за врагами, напрашивающимися в плен.

– Надо им что-то крикнуть... – Харитонов обернулся к командиру.

– Не надо, – отрезал Грицак. – Их родина нам скажет спасибо!

Он нащупал в ящике гранату, натренированно сорвал чеку и метнул гранату прямо в лодку.

– Ложись! – крикнул он, падая на палубу.

Харитонов грохнулся лицом вниз.

Взрыв взметнул вверх воду, дерево и людей. Рядом с головой Харитонova звякнул осколок, ударившись о железную палубу. Харитонов открыл глаза и увидел, что это не осколок – перед ним лежал оторванный взрывом палец с обручальным золотым кольцом. Рыжебордый зажмурился и тут же почувствовал во рту горький привкус – затошнило. Постарался сдержаться, но не смог. Отполз к борту и перегнулся. Когда немного отпустило, Харитонов приподнялся и огляделся по сторонам. По розовой воде плавали обломки шлюпки. Грицак спокойно сидел на палубе и, зевая, поглядывал на своего подчиненного.

– Ладно. Черт с тобой, иди спать! – проговорил он.

– Зачем ты?... – заторможенно спросил Харитонов, не глядя на Грицака.

– Для справедливости. Если нам нельзя сдаваться в плен, то почему им можно?! Потом, их восемь, а нас – двое... А если б они узнали, что винта нет и что нас только двое, – нам бы конец. Ну подумай, что нам с ними делать в открытом море? Иди спать! Стой!

Грицак поднялся на ноги, разогнул спину и внимательным взглядом прошелся по палубе.

– Вот что, – сказал он непривычно мягким голосом. – Сними с радиомачты флаг и иди спать!

Этой ночью в небе появился черный дирижабль и медленно, выключив мотор и пользуясь попутным ветром, пролетел над спящей баржей в куда угодно направлении...

Штиль продолжался и на следующий день. Харитонов спал в кубрике уже вторые сутки, но старшему матросу Грицаку не хотелось его будить. Он гулял по палубе и даже мурлыкал себе что-то под нос. Места для прогулки было, конечно, маловато, но зато он имел все права считаться здесь хозяином и капитаном.

Грицак остановился у бортика, окинул хозяйским взглядом горизонты, потом посмотрел себе под ноги и, увидев оторванный палец, скривил губы, взмахнул правой ногой – и полетел человеческий осколок в воду, блеснув на прощанье обручальным кольцом.

– Ну вот и я послужил делу победы! – постарался как можно самоувереннее произнести старший матрос.

Прозвучало довольно убедительно. Грицак успокоился, провел ладонью по щекам, проверяя, не пора ли бриться. Сразу же кольнула неприятная мысль, протестовавшая против рыжей бороды Харитонова. Грицак прогнал ее, полностью сознавая ее правоту и собственное бессилие. Он представлял себе, в каком именно случае рыжая борода Харитонова принесет ему неприятности. Случиться это может только неожиданно, когда вдруг выплывет на их затерянную баржу какое-нибудь наше судно и первый его офицер, поднявшись на палубу, влепит ему, Грицаку, взыскание за отклонение от норм дисциплины и устава. Хорошо, если б увидеть это судно заранее, чтобы Харитонов успел сбрить свою «саперно-лопаточную», как он ее сам называет. Нет ничего хуже, чем командовать земляками, особенно, если ты с ними вместе вырос. До них просто не доходит, что ты их командир и в твоих силах решать их судьбы, награждать их и наказывать. Как только наши найдут баржу, надо будет обратиться с рапортом о замене младшего матроса. Пускай кого угодно дают, хоть якута, который плавать не умеет, но главное – чтобы он его в первый раз видел.

## 5

Той ночью в небе появился черный дирижабль. Выключив моторы, он летел над морем в куда угодно направлении. В гондole дирижабля никого не было, хотя посредине ее и стояла табуретка, на полу валялся мелкий мусор, а в углу находилась большая картонная коробка, вмещавшая больше тысячи пачек сигарет «Друг».

Ночь была удивительно спокойной.

Наэлектризованная морская гладь напоминала сплошную взлетную полосу.

Лишь высоко в небе, там, где перед грозой летают дирижабли, дул легкий ветерок. Безвредный и не несущий с собою ничего, кроме потоков теплого воздуха.

Природа отдыхала, и не верилось, что ее отдых продлится долго, не верилось, что люди не устанут жить в мире и тишине.

Но ведь действительно не было для них никогда ни мира, ни тишины. То, что может позволить себе природа, – человечество себе не позволяет.

И той ночью лишь отсутствие человека создавало тишину и мир. И даже творение человека, оставшееся без своего Создателя, выглядело естественным продуктом природной эволюции птиц.

И не было ничего удивительного в том, что творение человека само по себе, без своего Создателя, смогло подняться намного выше человека. И смогло прижиться в небе, словно птица или облако.

Грицак, открыв ленд-лизовскую тушенку, которой был забит весь камбуз, ковырнул пальцами свиную мякоть и подбросил кружившим над баржей чайкам. Две камнем бросились вниз за кормом, столкнувшись, передрались между собой, а кусочек мяса тем временем, попрошавшись с глупыми птицами, нырнул кормить рыб.

Грицак ухмыльнулся и бросил чайкам еще тушенки. На этот раз одна птица, опередив остальных, склевала мясо и, словно от сытости медленно взмахивая крыльями, снова взлетела повыше, потом, расправив широкие крылья, принялась отсчитывать спиральные круги над никуда не плывущей баржей.

Старший матрос, задрав голову, швырял птицам, которых терпеть не мог, опротивевшую за последние два с лишним месяца тушенку. Швырял, словно выбрасывал, не думая ни о птицах, ни о чем другом.

Неожиданно он помрачнел, прошелся по палубе, взял в руки автомат и разрядил магазин в круживших птиц. Одна беспомощно плюхнулась в воду. А Грицак, удовлетворенно проследив за ее падением, положил автомат на палубу и присел.

От прогрохотавшей автоматной очереди в кубрике проснулся Харитонов. Поворочался на верхней койке и, полностью придя в себя, вытащил из-под подушки перечитанную уже много раз книгу П. Ионова и раскрыл ее посередине. Текст он знал почти наизусть и был от него не в восторге, о чем не раз писал в своих письмах здесь, на барже. Письма П. Ионову лежали отдельной стопкой в его тумбочке. Если бы их напечатали, вышла бы книга даже потолще ионовской, а главное, в ней было бы больше полезного смысла. Так, по крайней мере, считал сам Харитонов.

Подул холодный ветер. Грицак посмотрел на почерневший горизонт и недовольно скривил губы. Еще полчаса – и морская поверхность закипит, как вода в чайнике, и еще неизвестно, выдержит ли их баржа очередное буйство природы.

Чайки улетели. Грицак пододвинул к себе автомат, в мыслях сожалея о невозможности расстрелять из него осточертевшую стихию со всеми ее выкрутасами.

Шторм длился день, ночь и еще день и под конец вклинил баржу меж двух массивных камней, потрепал ее, отчего она, поерзав, села на прибрежную отмель крепко и надолго, потом затих. А вскоре и вода сошла, обнажив покореженное днище – по лунному желанию произошел отлив.

Грицак облегченно вздохнул. Ему было отчего радоваться и за что благодарить этот шторм. В другое время он бы проклял стихию и все ветра, но теперь перед ним был берег: песок, скалы и чуть заметная в дымке зелень деревьев. Перед ним лежала не просто земля – перед ним, избитая дождями и грозами, обветренная зюйдами и нордами, была его жизнь, ее продолжение. А что может быть важнее для человека, сдержанно и скрытно ожидавшего своей гибели?!

Все. Морские мучения позади. Кому суждено было найти смерть в пучине, тот не пропустил своей участи, как не пропустили ее немецкие матросы.

Харитонов, обессилевший от шторма, с синевой под глазами, приподнялся на локтях с койки, не веря в реальность затишья, и снова рухнул на спину. Качка его выпотрошила на неделю вперед, в ушах все еще продолжался скрежет железа, грохот ползающих по трюму ящиков с динамитом, рокот волн, с упорством бьющихся в борта.

Грицак спустился в кубрик, нашел глазами Харитонova, неприязненно сжал губы.

– Причалили! – сказал он и вышел.

Харитонов повернул голову вслед старшему матросу, сбросил ноги на пол и, стараясь устоять, словно шторм все еще продолжался, схватился за верхнюю койку. Постояв так минуту или две, он опустил руки и неуверенными шагами направился к выходу из кубрика.

– Можешь отлеживаться! – негромко и не по-командирски сказал Грицак, забросил автомат за плечо и спрыгнул на песок. – Я на разведку!

Харитонов мотнул головой и остался стоять на палубе, провожая уставшим взглядом своего командира.

Командир бодро вскарабкался на скалистый берег и пропал из виду.

Быстро опустился вечер. Шипели невысокие волны, набегавшие на берег.

Харитонов, придя в себя, достал ножницы, бритву и зеркало и принялся не спеша избавляться от своей роскошной рыжей бороды.

И зачем только Грицак так нервничал?! Словно Харитонов какой-то несознательный бунтарь! Будто он не соображает, когда и что можно, а когда нельзя! Вот сейчас действительно надо привести себя в смотровой вид – вернется Грицак с каким-нибудь пехотинцем при звездах на погонах и тогда за эту бороду без труда можно и в штрафбат загреметь. Но когда Грицак вернется – Харитонов уже превратится в выбритого до синевы образцового матроса. Странно, что командир ушел как-то не по-военному, задачи не поставил. Знает, наверно, что Харитонов не дурак и сам сообразит, что раз он остался один на барже с таким грузом – значит надо стоять на вахте, пока не вернется Грицак. А стоять на вахте – значит смотреть по сторонам, а думать о своем, вспоминать о доме, об озере, из которого вытекает река Онега, о мирном времени, которое обязательно наступит, и тогда он, матрос Харитонов, сможет наконец заняться любимым делом, которым он еще не занимался. Он найдет людей, для которых самое главное в жизни – дирижабли, он найдет их и останется с ними. Будет работать за кусок хлеба и кружку молока в день. И еще он отправит все написанные письма П. Ионову, и встретится с ним, и уговорит его написать другую книгу, книгу о мирных дирижаблях...

Вечерняя вахта под продолжающееся шипение волны превратилась в ночную. Черная поверхность воды качала отражения далеких звезд, а желтая луна, словно вырезанная из вологодского масла, то с любопытством смотрелась в ночное зеркало океана, то пряталась за незрелые грозные тучи.

«Да разве можно считать меня недисциплинированным?! – думал Харитонов, выискивая в небе спрятавшуюся луну. – Разве я не выполнил хоть один толковый приказ? Для великого дела победы все, что от меня зависит, – я делаю! Но пусть мне кто-нибудь из генералов объяснит: как ежедневное бритье может приблизить гибель врагов? Приказал Грицак спать на верхней койке, хотя в кубрике полно нижних, – я сплю и даже понимаю, почему Грицак спит внизу, а я вверху болтаюсь. Потому, что он – командир, и я должен всячески ощущать свою подчиняемость...»

На третьи сутки бессменной вахты Харитонов усомнился в своей стойкости и решил хоть бы часок подремать. Усталое забрался на свою верхнюю койку – словно уже в кровь вошел приказ Грицака, ведь куда удобнее спать внизу, – лег на спину и смежил веки.

Сон навалился как огромной силы шквал, пригвоздив его к койке и лишив сил. Он только почувствовал, как быстро обмякает его тело, как сами собой отнимаются руки и ноги. Это был плен, из которого одним усилием воли не вырваться. Тело ушло из подчинения.

Прилив щекотал днище глубоко засевшей в песке баржи, а обычно крикливые чайки молча кружили, безразлично кося глазками на только что зачатый природою розовый рассвет.

Сон начал возвращать Харитонову силы, и Харитонов снова ощутил себя, ощутил свою самостоятельность и цельность, и тело слушалось его, и бежал он куда-то во сне своем, а потом, добежав до вершины горы, огляделся и радостно оскалился, остановив свой взгляд на зависшем над лесом черном дирижабле. Вместе с радостью от увиденного возникло желание перекрасить свою мечту из черного цвета, который спасал воображаемый дирижабль от ночного зенитного огня, в какой-нибудь яркий и радостный цвет, но для этого нужна краска, и дирижабль должен быть рядом. Впрочем, дирижабль ничего не должен, и разве можно перекрашивать мечту, словно это забор или калитка?! Нет, пусть пока будет темным, а когда станет очень солнечно – он сам выпцветет, посветлеет и никакое перекрашивание не понадобится.

Харитонов прилег на поляне, посмотрев еще разок на свою мечту, и решил вздремнуть, но тут какая-то неведомая сила теплой рукой сжала ему горло и стала давить. От испуга Харитонova взяла оторопь – тело онемело, чьи-то пальцы все глубже вдавливались в шею. Харитонов понял, что все сейчас прекратится и наступит конец его нищей настоящей жизни, а следом закончится и богатая, но придуманная. Сердце замедлило ритм, легкие скукожились. Он огромным усилием поднял тяжелые многотонные веки, но кошмар продолжался и тело не слушалось.

– Неужели это не сон? – Харитонов, скосив взгляд влево, различил в темноте стенку кубрика. Хотел повернуть голову, хотел поднять руку или пошевелить пальцами, хотел посадить дирижабль на берегу озера Лача... Одни несбыточные желания. Так подкатывается медленная смерть, ожидаемая смерть, которая намного страшнее любой неожиданной.

Харитонов еще раз попробовал напрячь руку и хоть как-то оживить ее. Показалось, что возникла некая слабая связь между его желанием и действием руки. Рука, словно сделав снисхождение, пошевелилась, и теперь Харитонов ощутил ее, точнее, он ощутил схваченный судорогой локтевой сустав, ощутил немоту в пальцах и даже смог приподнять сведенную руку. Теперь надо быстрее освободить горло – иначе он задохнется и всякая борьба за жизнь потеряет смысл. Он поднес непослушную руку к шее и ощутил чужое тепло. Харитонов резко столкнулся с шеи невидимую вражескую руку. Раздался писк, и вниз полетела пригревшаяся на шее у Харитонova крыса. Грохнулась о деревянный настил пола и тут же барабанной дробью перебежала в дальний угол кубрика, где и притаилась.

Очумевший Харитонов снова смежил веки. Силы мало-помалу стали возвращаться к нему уже не во сне, а в реальности. Выровнялось дыхание, и легкие с жадностью распирали грудь, наслаждаясь вновь обретенной свободой вдоха и выдоха.

Харитонов встал. С указательного пальца слетела капля крови, и он увидел глубокую царапину – след крысиного когтя. В уме не укладывалось, откуда взялась эта крыса и как она забралась на подвешенную к потолку койку.

Вышел на палубу – солнце в зените, полуденное время. Странно, кажется, только что была ночь... В это время с Лачи в Каргополь возвращаются рыбаки. Но что с Грицаком? Почему его до сих пор нет? Пропал? Погиб? Или сразу арестовали и проводят дознание?! А если он вообще не вернется? Что тогда? Сидеть на барже, пока НЗ не закончится, а потом пустить себя на воздух с помощью своего же груза? Уже, правда, не только себя, но и еще одну живую тварь.

Мысли Харитонova не могли надолго отходить от страшного сна, перешедшего в реальность. Харитонов не верил в многозначительные случайности. Что-то эта крыса обозначала, может, то, что Грицак не вернется?! Вполне может быть – она ощутила нынешнее и грядущее одиночество Харитонova и пришла к нему показать, что он не один. Пришла к нему как божье знамение, убеждая жить и бороться за жизнь, думать о ясном и толковать непонятное.

Грицак не вернется. В этом Харитонов уже был уверен.

Странно, что крыса никогда прежде не показывалась на глаза и не заявляла о своем присутствии.

И все-таки Грицак не вернется. Ждать его, охраняя баржу, не имеет смысла, но бросить динамит и уйти на поиски жизни, к которой можно присоединить свою жизнь, так просто нельзя. Надо объяснить себе необходимость ухода или придумать нечто, некое действие, снимающее с него, Харитонova, бремя долга, но не дающее никому права называть его предателем и дезертиром. Теперь уже становится понятнее, чего он хочет: он хочет уйти отсюда так, чтобы одновременно не покидать взрывоопасный груз, в котором наверняка нуждаются ночные бойцы партизанских отрядов и диверсионных групп. Да, он обязательно уйдет, но должна остаться взаимосвязь между ним и баржей.

Харитонов полез в трюм и взялся за дело. Он соединил в одну нить несколько огромных клубков бикфордова шнура, хвостик его прикрутил к брикету динамита, способному разбудить от мирного сна тысячи своих собратьев по трюму, а второй конец вытащил на палубу, а потом и на берег. Дернул шнур на себя – он легко подчинился.

Порядок. Теперь он соберет вещмешок и, за отсутствием чемодана, посидит на этом вещмешке на дорожку. Потом – в путь...

Харитонов зажал конец шнура в кулаке и, наклонясь вперед для равновесия – вещмешок с ленд-лизовской тушенкой и галетами весил немало, – стал карабкаться на невысокий скалистый берег. За берегом вздымался к небу холм, почти лишенный растительности. Дойдя до его вершины, Харитонов остановился и отдышался.

План дальнейших действий был чрезвычайно прост. Каким бы долгим ни был путь – в конце концов он выйдет к людям. Если выйдет к своим – передаст им шнур, и они без труда найдут баржу. Ну а если нарвется на врагов – надо будет успеть незаметно поджечь шнур и отбежать в другую сторону, и тогда его душа, воспарившая над этой войной, увидит на берегу Японского моря большой силы взрыв...

Спускаясь по другой стороне холма, Харитонов увидел впереди величественные сопки, покрытые лесом. Перед ним лежала тайга, хозяйка этих мест, неуправляемая воля которой решала судьбы людей и зверей, попавших в ее владения, иногда переплетая эти судьбы, делая их взаимозависимыми. Кажется, это Грицак рассказывал, как неподалеку от берега партизаны нашли два обнявшихся скелета: волчий и человеческий.

Не пройдя и половины пути до вершины первой сопки, Харитонов сделал привал. Чтобы освободить руку, он тройным узлом привязал шнур к ляжке вещмешка. Шнур тянулся легко и неощутимо.

Присев под кедром, Харитонов перевел дух, огляделся по сторонам. Сверху доносился шепот ветра, расчесывавшего кроны, а внизу стоял штиль. Земля была покрыта коричневой прошлогодней хвоей и болезненно-салатового цвета травинками, обозначавшими, как это ни странно, окончание весны.

Посидел и хватит. Надо идти, тянуть шнур дальше. На вершине сопки он обязательно кого-нибудь встретит. Или своих, или врагов. Пятьдесят на пятьдесят. Во время войны любая сопка, любой, пусть даже едва приметный холм называется высотой, а высота незахваченной не бывает. Хотя первый, прибрежный холм, и оказался незахваченным...

## 6

В густой пирог темноты снизу вверх медленно вонзился луч прожектора. Вонзился и застрял, так и не пробив этот пирог насквозь, так и не добравшись до света.

Возле машины на голой сухой земле сидели шофер и Горыч.

Смотрели на луч.

Молчали.

– Ты помнишь, как в городе горел театр? – неожиданно спросил Горыч.

– Ну, – напарник кивнул.

– Это было ночью, и огонь освещал всю центральную площадь.

– Я не видел, – проговорил шофер. – В командировку уезжал. Налаживал производство деревянных игрушек.

Горыч усмехнулся.

– А чего это ты игрушками занимался?

– Поручили. В области вырубали леса, а дерево некуда было девать. Вот и решили тогда пустить древесину на игрушки...

– Театр тоже был деревянным... – Горыч закрыл глаза. – Не могу долго смотреть на свет... – пожаловался он.

– Давай выключим! – предложил шофер.

– Подожди, я отойду на минутку.

Горыч поднялся на ноги и направился в темноту.

Время шло без смены дня и ночи, без ветров. Тишина была во власти двух людей. Только они могли ее сохранять или нарушать.

Но сами люди были во власти темноты, и, хоть они могли зажигать прожектор, – от его луча веяло холодом. Когда он горел – темнота подступала вплотную. Люди сами себе казались настолько уязвимыми, что хотелось оставить этот прожектор, оставить машину и бежать.

Они не признавались друг другу в своих страхах. Может быть, они даже не признавались сами себе. И лишь одно желание позволяло им забывать о страхе, о своей постоянной уязвимости – желание включать прожектор и смотреть, как его луч уходит вверх. Луч был последней надеждой на то, что в конце концов они вернуться к нормальной жизни, к ветрам, к травам, к восходам и заходам солнца. Пока светил луч – жила надежда.

Горыч отходил все дальше и дальше. Наконец остановился и повернулся лицом к лучу. Отсюда этот луч выглядел неопишимо красивым. Роскошный ярко-желтый столб света. И даже темнота рядом с ним казалась синеватой. А машины не было видно. Только луч, словно колонна, подпирающая небо. Жаль, что неба не было. Ведь небо – это тучи или звезды. А здесь неба не было.

– Эй! – изо всех сил крикнул Горыч и удивился, как тихо прозвучал его голос. – Эй! Иди сюда!

«Может, это потому, что я уже давно не кричал?! – подумал он. – Так долго говорил шепотом...»

Увидев перед лучом силуэт идущего в его сторону шофера, Горыч успокоился.

Раз идет, значит, услышал. А расстояние-то немалое!

Горыч прикрыл глаза.

Снова в памяти возник горящий театр. Лунная ночь. Он провожал Ирину, целый вечер они гуляли по городу. Были в парке, катались на лодке, а потом долго сидели на скамейке. Театр был построен очень давно, но в то время он не работал. Старых артистов уже не было: кто сам умер, кто исчез, а новые еще не выросли. Но тогда писали, что театр вот-вот откро-

ется. Будет премьера. В антракте – буфет. Они с Ириной собирались ходить в театр каждую неделю. Собирались ходить и смотреть на настоящую жизнь. Говорили, что в театре будут идти только пьесы Горького. Но незадолго до обещанного открытия он сгорел. Горел он очень долго. Так долго, что сотни жителей успели проснуться, встать и выйти на площадь, где до утра и стояли, до тех пор, пока от театра не осталась черная груда обгоревших балок и досок. Только после этого горожане стали расходиться. У многих в глазах блестели слезы. Ирина тоже плакала и постоянно спрашивала: «Почему они не тушили его?» Горыч не знал почему и поэтому молчал. Все видели, что его не тушили, и все молчали, хотя наверняка каждый задавался этим вопросом. Но, наверно, не тушили потому, что не могли. Горыч был уверен, что должны быть какие-то очень серьезные причины не тушить театр. Иначе его сразу бы потушили, тем более, что пожарная команда стояла за углом. А раз не тушили – значит, нельзя было.

Горыч почувствовал, что глаза слезятся.

Они и тогда слезились. Все-таки пожар длился несколько часов и все это время они смотрели на огонь.

– Эй, шофер! – снова выкрикнул он.

– Здесь я! – ответил знакомый голос из темноты.

– Ты отсюда прожектор видел?

– Да. Красиво...

– А знаешь, что я думаю, – Горыч на секунду зажмурился. – Ведь пока луч горит – он становится как бы центром, и, куда бы мы не отошли, мы всегда можем к нему вернуться...

– А куда нам отходить? – спросил шофер. – Зачем отходить, если вокруг голая земля и темно? И наклон постоянный...

– А по-моему, здесь нет наклона! – возразил Горыч.

– Может быть, и нет, – сухо согласился шофер. – Но машина-то сама катится, пока ручной тормоз не поднимешь.

– Ну что ж, – вздохнул Горыч. – Тогда пошли, покатаемся дальше...

И они пошли в сторону единственного ориентира. Чем ближе они подходили к лучу прожектора, тем менее привлекательно он выглядел. Терялось ощущение сказочности, возникшее у Горыча, когда он смотрел на этот луч с расстояния. Терялись все ощущения, и реальностью оставались только темнота и их машина, до недавнего времени считавшаяся экипажем прожекторных войск.

Дни сменялись ночами, леса – степями, и над всем этим летел черный дирижабль, оставляя позади себя и внизу землю, время, события, неспособные достигнуть его высоты. Ветер увлекал его за собой. Между ним и землей кружили птицы, а между ним и небом ничего не было. Все было постоянным, более постоянным, чем воздух или звезды, ведь даже теплый газ в недрах дирижабля не остывал.

А внизу, далеко внизу и позади, там, где время шло очень медленно, с трудом перебираясь через холмы и овраги, упрямо тянул бикфордов шнур младший матрос Харитонов, карабкаясь на очередную сопку. Позади остались уже четыре не захваченные никем высоты, и это настораживало. Казалось, война передвинулась куда-то далеко, оставив здесь тыл. Безлюдный тыл неизвестно какой армии.

Весна, должно быть, уже вплотную придвинулась к лету. Хотя и нечасто задумывался Харитонов о календаре, а все-таки жалел, что потерял счет дням и датам. Месяц он примерно знал – или май, или июнь. Но как быть дальше, если он не встретит в пути никакой организованной жизни? А ведь у него летом праздник – 27 июля. День рождения.

У надломленной молодой лиственницы Харитонов остановился и прислушался к тишине. Все вокруг словно замерло, затаило дыхание – да и сам Харитонов тоже затаил

дыхание, чтобы услышать какой-либо другой звук, кроме собственного. Но не услышал. И не то чтобы ему тоскливо стало – просто захотелось шума, и он с силой потянул ствол листовенницы на себя. Дерево заскрипело, и надломленная верхняя часть упала на землю. Харитонов наклонился, поднял кусок ствола и, обломав мелкие ветки, соорудил себе посох. С палкой идти сподручнее, хоть и ноги не болят, и все же какое-никакое оружие.

Сделав несколько шагов вперед, Харитонов вновь остановился.

Перед ним росла целая семейка белых грибов. Младший матрос опустил на корточки и, аккуратно срезав их, положил в вещмешок.

И тут услышал за спиной шорох. Медленно и стараясь быть бесшумным, обернулся и встретился взглядом с настороженными глазами-пуговками крысы. Она словно тянулась к нему носом, дрожащий кончик которого разнюхивал человека. Харитонов подивился смелости или глупости зверька, сидевшего в полуметре от него. После дороги по этим безжизненным холмам встреча с любым живым существом была почти праздником.

Однако через мгновение Харитонов почувствовал раздражение – вспомнилась кошмарная ночь и крыса, пригревшаяся у него на шее. Может, это она и есть? Откуда здесь может быть крыса?

Зверек, почуяв опасность, отбежал метра на два и уже с более безопасного расстояния следил за человеком. Харитонов поднялся и замахнулся на крысу палкой. Зашуршали сухие листья, и зверек исчез; снова водрузилась тишина.

Харитонов шел и думал о том, как надо было поступить с этой крысой: ударить ее палкой или же нет. У себя дома, на Лаче, он бы не раздумывая влупил по грызуну – там от этих крыс вреда не перечесть, а здесь она – обычный лесной зверь. Людей же нет, так, наверно, и вреда от нее тоже нету.

Поднявшись на сопку, Харитонов обвел взглядом одинаковые окрестности и неожиданно обрадовался, увидев над соседней сопкой столбик дыма, уходивший прямехонько в безветренное небо. Вот она – захваченная высота! Осталось дойти и узнать, кто там хозяин. А дальше видно будет.

Радость добавила сил Харитонову, и он, не останавливаясь для передышки, поспешил в сторону дыма, в сторону чьей-то организованной жизни, разбитой на точно отмеренные двадцатичетырехчасовые отрезки времени.

Второй склон сопки был лысоват. Харитонов шел быстро, однако до нужной ему сопки было еще километра три, а солнце уже наклонялось над закатной стороной. Приближающийся вечер торопил Харитонина.

Когда стемнело, Харитонов был уже близок к цели. Он шел на костер. Лицо, исцарапанное ветками, зудело. Еще несколько десятков метров – и он встретит людей, и эта встреча может оказаться целью его таежных блужданий. Во всяком случае, он именно с этой целью и шел. Встретить, доложить о грузе и поступить в чье-то дальнейшее распоряжение. Ведь баржу уже с камней не снимешь, а война идет и где-то не хватает бойцов. Может быть, даже здесь.

– Стой! Кто идет?! – раздался из темноты выкрик постового.

Харитонов остановился и вздохнул с облегчением: «Наши!»

– Младший матрос Харитонов! – четко доложил он.

– Пароль!

– Не знаю...

– Руки вверх и вперед! – голос прозвучал уже из-за спины.

Харитонов вышел на поляну, в центре которой горел костер.

У костра сидел пожилой офицер. Остановились перед ним.

– Товарищ генерал, задержан нарушитель!

– Да какой я нарушитель! – перебил солдата Харитонов. – Я ж к вам сам шел!

– Сдать оружие! – приказал генерал.

– Нет у меня оружия...

Солдат ощупал Харитонов, потом снял с его плеч вещмешок.

– Тут за ним какая-то веревка тянется! – сказал он задумчиво.

– Пройти вдоль нее и определить назначение!

– Товарищ генерал! – снова заговорил Харитонов. – Разрешите объяснить!

– Объясняй! – великодушно разрешил генерал.

– Это не веревка, а бикфордов шнур. Он присоединен к грузу динамита на барже, которая на отмели у морского берега.

– А где здесь морской берег?! – удивился генерал.

– Недели две пути, – сказал Харитонов.

– Интересно! – генерал встал и вплотную подошел к младшему матросу. – Мы тебя вот что, арестуем пока... А позже решим, что с тобой делать.

– Товарищ генерал! – жалобно обратился Харитонов. – Да за что?

– Моя фамилия – генерал Лыков! Так и говори, не стесняйся: «Товарищ генерал Лыков!» А арестовываем тебя за то, что ты на дезертира похож! Да и сказки мне твои про шнур не нравятся! Может, там по этому шнуру кто-то уже идет к нам?! Изводьев! Разбуди Аникина, и пусть он пройдет до конца шнура.

– Слушаюсь! – отчеканил солдат, задержавший Харитонина.

– А этого закрой во второй землянке! – продолжал генерал. – И стереги! Уйдет – расстреляю, а если вдвоем уйдете – двоих расстреляю!

Изводьев подошел к Харитонову и толкнул в плечо.

– Пошли!

На другом конце поляны зашли в низенькую сырую землянку.

– Вот здесь будешь жить! – сообщил Изводьев.

– Послушай, а где фронт? – спросил Харитонов.

– Не знаю.

– А вы что здесь делаете?

– Мы здесь уже лет восемь. Выходим из окружения.

– Так тут вроде же никого! – удивился арестованный. – Кто же вас окружает?

– Генерал говорит, что вокруг вражеское окружение, – повторил Изводьев.

Харитонов замолчал.

Солдат оставил арестованного, вышел и задвинул на запор дверь. В полной темноте Харитонов нащупал деревянные нары. Улегся. И задумался, пытаясь разобраться, куда же это он попал.

Сосредоточиться в этой сырой темноте было трудно. Единственное, что понял Харитонов, было то, что он оказался как бы в двойном плену – и у своих и у врагов, так как его плен был во вражеском окружении, о чем он понял со слов генерала Лыкова.

Бежать некуда, да и не имеет смысла. Ну убежит, а потом что – снова людей искать?! Нет, надо ждать, пускай они узнают, разбираются, а он может пока и отдохнуть.

Вскоре он заснул, но сон его не был долгим. Ночью дверь открылась, и тот же Изводьев растолкал его.

– Ты чего? – недовольно заворчал Харитонов.

– К генералу на допрос, – едва слышно проговорил солдат.

Выбрались из землянки и подошли к костру, у которого на колоде в той же задумчивой позе сидел генерал в накинутах поверх солдатской шинели.

– Товарищ генерал, арестованный доставлен! – доложил солдат.

– Ударь его! – негромко приказал генерал.

– Ты уж извини! – прошептал Изводьев и стукнул Харитонина кулаком по уху.

В голове арестованного зазвенело.

– Теперь слушай! – генерал прокашлялся. – Ты знаешь, что мы со времен революции находимся во вражеском окружении?!

– Ну да... – кивнул Харитонов, решив отвечать положительно.

– Знает! Слышишь, Изводьев, дурья башка, даже он знает! Так вот, ты пришел к нам со стороны вражеского окружения. Меня интересует, кого ты из этого окружения встречал и что о нем знаешь?

– Нет... – запнулся Харитонов, – не знаю, не встречал...

– Подонок. Подонок и дезертир! – огорченно произнес генерал. – Если Аникин через два дня не вернется, мы тебя расстреляем.

– Товарищ генерал Лыков! – встрепенулся Харитонов. – Да ведь только к барже не меньше двух недель идти! Как же он вернется через два дня?!

– У него приказ. Не вернется – расстреляем тебя, а потом его, если вернется с опозданием.

Харитонов потупился и горестно размышлял о судьбе, которую ни предсказать, ни предвидеть невозможно. Глупо все как-то получалось.

Генерал пододвинул колоду поближе к огню и уселся так, что пламя освещало его побитое оспой усатое лицо.

Изводьев подошел к генералу, наклонился и что-то прошептал.

– Нет, – замотал головой генерал. – Не могу я спать! Вот выйдем из окружения – отоплюсь, а пока нет. Во сне и убить могут. А за заботу о генерале объявляю благодарность!

– Служу Советскому Союзу! – протараторил солдат.

– Ты вот что, ударь его еще разок и отведи назад, сам приляг, поспи часик! – генерал повернул голову, посмотрел, как Изводьев еще раз ударил арестованного кулаком по уху и проводил их взглядом.

Чтобы отвлечься от звона в голове, Харитонов пытался сосчитать шаги до землянки. Считал он вслух, но негромко.

– Чего бубнишь? – равнодушно спросил солдат. – Ты извини, приказ генерала – приказ родины.

– А мне кажется, что он – сумасшедший! – Харитонов обернулся, пытаясь рассмотреть лицо Изводьева.

– Иди, иди! Генералы сумасшедшими не бывают! Он уже двенадцать лет не спит.

Зайдя в землянку, Харитонов сразу улегся на нары. Щелкнула задвижка, и остался арестованный наедине с темнотой. Болело ухо, все еще звенело в голове и совершенно не хотелось спать.

Утром за ним снова пришел Изводьев. Поинтересовался самочувствием, пожаловался на живот. Лицо у него было бледное, как у покойника, под глазами синеватые круги.

– Я уже давно не жилец, – грустно протянул он. – Здесь зимой знаешь как морозно! У меня уже и ноги синие какой год. Каждый день болят! Ладно, пошли к генералу. У него сегодня настроение хорошее.

У генерала действительно было хорошее настроение. Он расхаживал вокруг костра, о чем-то вполголоса размышляя. Увидев Изводьева и арестованного, резко остановился, подождал, пока те подойдут.

– Ну как, выспался? – обратился он к Харитонову.

– Нет, – мрачно ответил арестованный.

Генерал набычился, перевел взгляд на солдата, потом снова на арестанта.

– Карту дороги к морю нарисовать можешь? – спросил он.

– Нет, – замотал головой Харитонов. – Это если по шнуру идти, то можно выйти, а так я даже не знаю, в какой стороне оно отсюда.

– По шнуру... – повторил генерал. – Надо тебя расстрелять все-таки. Карту нарисовать не можешь, вражеского окружения не видел. Родился где?

– В Архангельской области.

– Ишь ты, – генерал облизал сухие губы. – Дети есть?

– Нет.

– Это хорошо. Значит, сирот не прибавится. Папиросы есть?

– Не курю, – Харитонову надоело отвечать на эти короткие, как бы невзначай заданные вопросы, он смотрел на землю и думал о дирижаблях.

– Не куришь... – повторил генерал. – А я вот уже двенадцать лет не сплю... И вот за это время таких двух подонков, как этот, – генерал ткнул пальцем в Изводьева, – расстрелял за сон на посту... А ты – «не курю», «карты не рисую», «детей не имею», тьфу!

На земле перед Харитоновым остановились грязные, много лет нечищенные сапоги.

Харитонов поднял глаза и встретился взглядом с рассматривавшим его в упор генералом.

– И зубы я уже двенадцать лет не чищу. Порошка нет. А они тем временем гниют, вот посмотри! – и генерал дыхнул в лицо Харитонову такой затхлостью, что арестованный зажмурился, словно запах был неприятен и глазам.

– Видишь, до чего нас враги довели! А мы не сдаемся! И не сдадимся, наверное... Ты какое время суток больше любишь?

– Ночь, – ответил Харитонов. – Самое мирное время.

– Ишь ты! Мирное время!.. – хмыкнул генерал. – Это я спрашиваю, когда тебя лучше расстреливать – утром, днем или вечером. Ночью не будем. Патронов мало, да и промахнуться легко.

Харитонов молчал.

Генерал смотрел на него в упор с расстояния протянутой руки.

Изводьев сидел на генеральской колоде в генеральской позе.

Смотрел на костер и чесал рукой колено. Потом скинул сапог, размотал портянку и сунул чуть ли не в огонь действительно синеватую правую ногу.

– Изводьев! – крикнул, не оборачиваясь, генерал.

Солдат подпрыгнул и застыл, стоя согласно команде «смирно».

– Отведи арестованного! – приказал генерал.

Изводьев быстро просунул ногу в сапог и, оставив у костра портянку, поспешил к Харитонову.

Арестованный побрел к землянке, ставшей для него первой в жизни тюрьмой.

Солдат зашел внутрь вместе с ним. Вместе присели на нары.

– Нарисовал бы ему какую-нибудь карту! – дружелюбно проговорил Изводьев. – Разве трудно?

– Да не умею я... – Харитонов пожал плечами. – Я и дороги назад без шнура не найду.

– Давай я за тебя нарисую... – предложил солдат, как-то странно заглянув в глаза арестованному. – Просто нарисую что-нибудь похожее на карту. Никто ж не проверит...

– А тебе это зачем?

– Дурак ты! Увидишь, завтра он прикажет тебя расстрелять, а исполнять приказ, кроме меня, некому... Я ж еще никого в своей жизни не убил!

– Что, и ни одного немца? – искренне удивился арестованный.

– Я их и в глаза ни разу не видел, – признался Изводьев. – Только ты генералу об этом не говори... Мы с Аникиным ему раз десять докладывали о замеченном неприятеле...

– Зачем?

– Чтобы врагов боялся... Ведь если он не будет бояться, то начнет нас подозревать в чем-нибудь и, того гляди, расстреляет. Он знаешь какой подозрительный!

Странный, далеко не во всем понятный Харитонову разговор продолжался еще долго, а когда закончился, Изводьев встал, вежливо попрощался с арестованным и, сообщив напоследок, что ему на сегодня еще приказано собрать грибы на ужин, вышел из землянки, не забыв закрыть за собой дверь. После упоминания о грибах Харитонов почувствовал себя голодным, заглянул под нары, но, как и предполагал, ничего там не обнаружил. Вспомнил о вещмешке, в котором еще хранились две банки тушенки и семейка белых грибов, срезанных в день его встречи со «своими», иначе говоря, в день его ареста.

По сравнению с порядками на этой высоте, вся морская жизнь показалась Харитонову легкой и безоблачной, а сам его командир, старший матрос Грицак, выглядел просто ангелом. Да что вся эта война, чем она была для Харитонова? Он не был ни в окопах, ни в боях – подручный бойцов, снабженец партизан. Смерть увидел только благодаря Грицаку, да и то – смерть вражескую, какую-то жалкую и жестокую. А здесь, на этой высоте, продолжалась уже другая война. Война с каким-то невидимым врагом, спрятавшимся за деревьями, за холмами, за тонкими стебельками травы. Казалось, что враг прозрачен, безлик, иными словами – его просто нет, но его придуманное присутствие спасает людей от мира, от которого они отвыкли, спасает их от доверия друг к другу.

И мысли, способные забираться в пределы, недосыгаемые для глаз, вернули Харитонova к его черному дирижаблю, бесшумно проносящемуся по ночному небу в куда угодно направлении. Под дирижаблем, словно отражения звезд, блестели огоньки деревушек, где-то выла собака, то ли на луну, то ли на дирижабль. К ней присоединились остальные друзья человека, ночующие во дворах вне пределов комнатной домашней теплоты и уюта. А люди еще не спали, и не обращали они внимания на вой собак, и не знали они о проносящемся высоко в небе дирижабле. Они ужинали или думали о завтра, не о том завтра, которое наступит с восходом солнца, а о другом, подробно описанном в газетах и книгах. Думать о таком завтра было приятней и интереснее, а говорить о нем можно было без конца. Так и жизнь состояла из множества таких разговоров, но жизнь принадлежала вчерашнему дню, а завтра еще не наступало. Оно, без сомнения, приближалось, и люди ждали. Они ужинали и думали о нем. Они слышали вой собак и не обращали на него внимания. А собаки – они видели проносящееся мимо высоко вверху и, не зная, завтра оно или просто дирижабль, выли; выли долго, протяжно и тоскливо лишь потому, что это нечто улетает, исчезает в этом удивительно звездном и лунном небе. И вой, и огоньки деревенских окошек остались позади и внизу, как оставалось все. Снова черное таежное море лиственниц, кедров и блуждающих меж кронами деревьев ветров. Что-то цельное, вечное. Полет продолжался, непилотируемый, свободный, без карт, приборов, без человека. Полет, достойный лучшей людской мечты. А впереди и внизу снова появились огоньки таежной деревушки – староверческого скита.

Движение воздуха замедлилось. Дирижабль, оставшийся без поддержки ветра, остановился. Впереди внизу горели огоньки, на небе равномерно разбросанными бусинками светились созвездия, составляя искрящуюся паутину, преграждающую путь в дальнейшие миры.

Движение воздуха прекратилось.

Харитонов решил дождаться ночи и бежать.

А пока он прилег на нары и задремал. Сквозь щели в землянку пробивался дневной свет. Время приблизит вечер, и свет потухнет.

В уши неожиданно вкрался детский голос, готовый рассказать о какой-то тайне, принадлежавшей прошедшему детству, а оттого еще более бесценной...

«Вчера вечером, когда я все-таки забрался на подоконник и первый раз в своей жизни сам открыл окно, мне никак не верилось, что уже шесть лет я живу на этой красивой земле, в большом, почти сказочном доме моих дорогих родителей. Мне не верилось, что я уже, наверное, наизусть знаю наш огромный сад, знаю три старые яблони, знаю заросли крапивы

и чертополоха, знаю большой муравейник, за которым, как за деревьями, ухаживает мой отец.

Иногда по утрам, особенно по воскресеньям, он выходит в сад, собирает с листьев гусениц и относит их муравьям. Я тоже хочу подружиться с муравьями, но пока что они меня боятся. Я уже знакомился с ними, и они знают, как меня зовут. Я наклонялся низко-низко над муравейником, так низко, что мама потом вытирала песок с кончика моего носа. Я наклонялся и говорил так, как меня учили родители: «Позвольте представиться, меня зовут Вильям».

Я повторял так несколько раз и несколько дней, но в ответ ничего не услышал. Наверное, потому, что муравьи очень маленькие и голоса у них очень маленькие и неслышные.

Вчера вечером у нас были гости. Они поздравляли меня с днем рождения и дарили подарки. Моя тетя из Блэкпула была так добра, что подарила мне настоящий маленький паровозик с вагончиками. Папа сказал, что к тому времени, как я подрасту, таких паровозов на улицах будет больше, чем шляпок у мамы. Мама назвала папу фантазером. Мне еще подарили несколько книжек, два отряда оловянных солдатиков и вкусный именинный торт.

Мы сидели за столом. Папа достал тоненькие свечи и украсил ими торт, а потом попросил меня сосчитать эти свечи. Их было шесть. А еще я сосчитал гостей, их было девять, но об этом я не сказал папе. Мой дядя, живущий недалеко от нас, зажег свечи на тортике и погасил газовую лампу. Стало так тихо, что даже я затаил дыхание. И мне показалось, что я услышал муравьиные голоса, которые тоже поздравляли меня с днем рождения. Голоса доносились со стороны сада, но никто, кроме меня, их, кажется, не слышал. Свечи разгорелись и осветили весь стол и лица гостей, и я подумал, что все это сказка, и я – сказочный, и мои гости, и папа с мамой тоже пришли из доброй сказки. А на тортике красивыми кремовыми буквами было написано: «С днем рождения, Вильям!». Это я прочитал сразу. Папа очень гордится, что так рано научил меня читать.

И так долго тянулась тишина, в которой муравьиные голоса сливались с потрескиванием горящих свечей, что я закрыл глаза и придумал себе сказку, в которой я был уже большим и взрослым, и у меня тоже был день рождения. И дом был еще больше, чем этот. И стол был таким большим, как вот эта комната, а на столе лежал большущий торт, на котором так же красиво было написано: «С днем рождения, Вильям!», и торт был украшен высокими, красивыми свечами из желтого воска, такими же, какие зажигают по воскресеньям в нашей церкви. И этих свечей было больше, их было двадцать или даже тридцать, и они горели так ярко, что гости щурились и отворачивались от яркого света лицами друг к другу и молча улыбались друг другу, потому что говорить при горящих свечах разрешается только с Богом. Сказка придумалась очень хорошей и доброй, только в этом сказочном дне рождения мне никто ничего не подарил. Только большущий торт и высокие-высокие свечи, которые так долго горели, что наступившая тишина даже остановила старые настенные часы. И язычки пламени опускались все ниже и ниже, пока не коснулись розового крема, а когда коснулись – за окном заиграла музыка и праздничный фейерверк разбросал вокруг огненные брызги, и сразу стало так светло, как после восхода солнца. Но яркий свет фейерверка медленно потух, и так же медленно затихла музыка, и снова в наступившей темноте громко затикали настенные часы. И кто-то торопливо зажег газовую лампу, гости зашевелились, стали разговаривать. Дядя разрезал мой большущий торт на много маленьких кусочков, и на моих глазах он стал уменьшаться и исчезать. А моя добрая тетя из Блэкпула, откусив кусочек тортика с моим кремовым именем, нравоучительно сказала, что по традиции именинник сам должен гасить свечи на именинном тортике. Потом она взяла в руку свечку, зажгла ее, подождала, пока она разгорится, и дунула на маленькое пламя. От потухшего фитилька поднялась вверх жалобная струйка дыма. «Вот так надо, Вилли! – сказала она. – Это приносит счастье!» – «А что такое счастье?» – спросил я. «Счастье, – ответила тетя, – это когда ты с одного раза

потушишь все именинные свечи!» После этого она снова зажгла потушенную свечу и поднесла ее к моему лицу. Я провел пальчиком по теплomu, нежному воску. «Ну давай, фукай!» – попросила тетя. Это было похоже на игру. Я научился фукать чуть-чуть мимо, так, чтобы огонек не гас, а как бы танцевал. Жаль, что моей тете игра не понравилась. Она сама потушила свечечку и посмотрела на меня с упреком. А за столом было весело, все жевали торт, пили чай, смеялись, разговаривали и только папа, улыбаясь, смотрел на меня. А тетя из Блэкула обиженно отвернулась и что-то рассказывала моей маме. И опять мне показалось, что я услышал муравьиные голоса, мне показалось, что муравьи из нашего сада зачем-то зовут меня. Мне показалось, что я им очень нужен, и я спросил папу, может ли он исполнить мое именинное желание. Папа рассмеялся, и гости рассмеялись тоже. «Конечно, – сказал он, – но сегодня ты должен высказать свое самое сильное, самое сокровенное желание. Ведь такой день бывает лишь раз в году». Гости притихли и выжидательно смотрели на меня. «Папа, – сказал я, – разреши мне забраться на подоконник и самому открыть окно!» Все заулыбались. «Что ж делать! – развел руками папа. – Разрешаю!» И он встал, отодвинул с окна тяжелые гардины и отошел чуть в сторону. Я взял свой стул, подтащил к окну, залез на него, а с него уже забрался на подоконник и – первый раз сам отодвинул задвижки и распахнул наше большое окно, выходящее в сад. Окно открылось, и я увидел внизу светлое пятно, и тут же из глубины сада донеслись до меня муравьиные голоса. И они уже не были такими тихими, как раньше, и я легко различил свое имя. Они кричали: «Вилли! Иди к нам! Вилли!» Я закрыл глаза и спрыгнул вниз. Еще не успел я долететь до нашего сада, как меня догнал испуганный крик мамы. А когда я поднялся с земли, отряхнулся от песка и задрал голову вверх, чтобы посмотреть на наше большое окно, которое я сам сегодня открыл, я увидел девять напуганных лиц. «Можно, я схожу к муравьям?» – спросил я папу. Папа не разрешил. Он приказал мне сейчас же вернуться в дом и шагать наверх в спальню. Только праздник избавил меня от более серьезного наказания. Но даже если бы меня и наказали, я бы не плакал. Ведь вчера был на самом деле удивительный день. И вовсе не потому, что пришли гости, принесли подарки. Вчера я первый раз в своей жизни САМ открыл окно, вчера я придумал сказку про свое будущее и вчера я наконец услышал муравьиные голоса, которые называли меня по имени. Хорошо, что они запомнили мое имя. Теперь, когда я приду к муравьям нашего сада, они узнают меня и уже не будут бояться. И я смогу рассказать им очень много, я им расскажу о вчерашнем дне, об именинном тортике, о шести свечах, которые задули мои гости и, самое главное, об этом окне, выходящем в наш сад, об окне, сквозь которое я услышал их голоса.

Словно после дурного сна, в голове Харитонов стоял шум, мешавший привести в порядок мысли и желания. В ушах все еще звучал, затихая, детский голос.

Время, видно, уже приблизило вечер. В землянке стало прохладнее и заметно темнее. Харитонов протер глаза, встал на земляной пол, наклонился к щели, сквозь которую совсем недавно бил пучок света. Увидел костер и сумрак, окружавший огонь. Рядом, должно быть, сидит на своем теплом посту этот генерал Лыков. Плохо, что землянка так близко – любой шум может привлечь внимание генерала, и тогда придется Изводьеву расстрелять арестанта за попытку побега. Ладно, не ждать же в самом деле наступления утра. Харитонов подошел к двери, нажал на нее плечом, проверяя замок. Дверь спокойно приоткрылась – неужели солдат щелкнул задвижкой просто так, для вида? Арестант вышел из землянки и замер, прислушиваясь. Треск веток в костре – единственная музыка этого вечера – долетел до его ушей. Запах дыма был по-детски ласков, щекотал нос. Спиной к Харитонову сидел генерал, без движения, словно памятник или камень. И вдруг чья-то рука опустилась на плечо арестованного. Он едва сдержал крик. Испуг прогнал мурашек по спине, бешено застучало сердце.

– Кто? – выдавил шепотом Харитонов.

– Я, Изводьев! – тоже шепотом ответил солдат.

Снова наступило молчание, в котором кроме треска костра Харитонов слышал дыхание еще одного человека.

– Бежишь, что ли? – снова прозвучал в шею теплый от дыхания шепот Изводьева.

– Да, – ответил Харитонов. – Где мой вещмешок?

– Будь здесь, – сказал Изводьев и зашуршал по старой листве.

Харитонов остановил взгляд на генерале, но тот не шевелился. Может быть, спал?

– Держи! – солдат опустил на спину Харитонову вещмешок, а арестованный быстро продел руки в ляжки и тотчас проверил шнур. Он был на месте.

– Со мной не хочешь? – спросил, не оборачиваясь, Харитонов.

– Ноги болят, – ответил Изводьев. – Да и куда? Ты знаешь, куда идешь?

– Нет, – признался Харитонов.

– Тогда зачем зовешь?! Может, лучше останешься? Может, тебя и не сразу расстреляют. Смерть все равно всегда при нас.

– Прощай, – прошептал Харитонов и, так и не обернувшись, осторожно обошел костер, пройдя почти по самой кромке темноты. А потом ветки и стволы наслаивались на красное пятно костра, пока уже не осталась от него всего лишь яркая точка. Тогда Харитонов присел на склоне и стал ждать восхода солнца, которое осветит путь и отопреет.

Арест, костер и неподвижный генерал – все это осталось позади, в каких-то двухстах метрах от него. Харитонов смотрел на точку костра. Смотрел и в мыслях прощался с первыми «своими», которых он встретил и которых оставлял здесь, на сопке, во вражеском окружении, невидимом и неосязаемом. Сколько лет они еще будут ждать врагов? Харитонов этого не знал, но в душе желал им встретить врагов как можно скорее, чтобы двенадцать лет бессонного боевого дежурства не оказались без толку потраченной частью жизни. Дай им бог скорых врагов. У Харитонина заболели глаза от долгого глядения в одну точку. Достал грибы и сжевал их сырыми. Ел и вспоминал вкус маринованных рыжиков. Очень хотелось ощутить его еще раз, но сырые белые грибы были безвкусны.

## 7

За забором скита, высоким частоколом из сосновых бревен, находилось кладбище. Уже больше двух столетий считалось оно священным: через месяц после смерти любого старовера, пусть даже грудного дитяти, сюда приходили все во главе со старейшиной и проверяли: пустил ли корни, пророс ли деревянный крест над свежей могилой. Если пророс – значит, в него перешли святые силы умершего. Если же не принялся крест на могиле и помертвело дерево, то больше за этой могилой не ухаживали. Среди проросших крестов была одна дикая груша, исковерканный ствол которой и раньше с трудом напоминал форму креста. Прорастал он во время дождей, которые пригнули его к земле так, что в конце концов он уже не стоял, а лежал на могиле и так плашмя корни пустил, а новый ствол стал подниматься неровно. Когда-то детишки пробирались сюда за дичками. Старшие ругали и пороли их за это нещадно, но потом кто-то сказал, что если крест пророс, то злых сил бояться нечего. Святая груша не может не дать святых плодов. После этого каждой осенью ребятам было раздолье. Однако омрачало многих то, что никто не мог вспомнить, кого похоронили под грушевым крестом. Хоть и недавно это было, но у всех словно память отшибло. Пытались посмотреть, кто за последнее время умирал и где кого хоронили. Так, на удивление, у каждого умершего была своя могила и свой крест, а кто лежал под грушей – так и не поняли.

С тех пор минуло немало лет и жизней, и остались в скиту лишь Иван Тимофеич Корнягин и трое его сыновей. Жили отдельно, но работали вместе. Иван Тимофеич был старейшиной, а стало быть, духовным отцом своим сыновьям. С того дня, как похоронил он свою жену, стал все чаще закрываться по вечерам в часовенке и думать. Сыновья знали, что с отцом происходит что-то странное, но спросить его об этом не решались.

В весеннее воскресенье Иван Тимофеич объявил сыновьям, собравшимся в часовне для молитвы, о том, что отныне он не позволяет им обращаться к Господу до тех пор, пока он самолично не переписшет учение.

– Зачем? – удивился старший сын Владимир. – Ведь учению тысячи лет!

– Может, и не в учении дело, – согласился отец. – Но я в ответе пред небом за вас. Будущего у нас здесь не будет, а одним прошлым не проживешь, хотя частью его стать возможно. Одним словом, надо будет уходить отсюда. Здесь у вас не будет детей, как нет и жен. Кладбище разрослось, а теплых домов осталось только четыре, и в каждом из них по одному человеку...

– А куда идти? Разве есть где рядом люди? – спросил средний, Николай.

– Когда ваш прадед привел сюда людей, вокруг на сотни верст не было никакого жилья. Но с тех пор прошло много времени. Может, кто-нибудь еще пришел и привел за собой невдалеке отсюда? Нам надо искать. Не знаю, отчего наши беды... Но теперь по воскресеньям мы станем трудиться во славу Господню, будем строить колокол.

– Из чего, как? – подал голос младший сын Андрей.

– Да ведь нет ни серебра, ни меди... – добавил Николай.

– Я думал об этом, – кивнул отец. – Нам нужно новое учение и новый колокол. Колокол, который будет звучать даже тогда, когда мы уйдем отсюда.

Сыновья чувствовали себя неловко, первый раз ведя такие разговоры в часовне, первый раз слушая не проповедь отца, стоящего перед иконостасом, а его странные, непонятные мысли. Владимир перевел взгляд с Ивана Тимофеича на лик Иисуса, и стало ему стыдно за отца своего перед Господом, но промолчал он.

– Я придумал такой колокол... – продолжал Иван Тимофеич, – а если вы думаете, что я не смогу переписать учение...

Сыновья молчали.

– Колокол начнем делать сегодня. Из старого кедра, что упал прошлой зимой рядом с воротами.

– Деревянный?! – вырвалось у Андрея, и он засомневался, что отец их в здравом уме.

– Да, деревянный, – подтвердил Иван Тимофеич. – Но скажите сперва: пойдете ли со мной?

После минутного молчания Владимир кивнул. Андрей и Николай кивнули следом.

– После того, как наш колокол зазвучит, Господь пошлет нам знамение и укажет путь отсюда. – Иван Тимофеич отошел от иконостаса, чуть помедлил и неожиданно быстро вышел из часовни.

Кедр, упавший минувшей зимой, был шириной в три человеческих обхвата. Взяв пилу и топоры, последние жители скита принялись за работу. Отец давал указания, сыновья работали молча. Перед закатом разом взглянули на солнце, перекрестились и вошли в ворота скита. Сыновья пребывали в смущении и даже друг на друга не смотрели. Так молча и разошлись по своим срубам. Только отец выглядел уверенно, твердой походкой шагая к дому. Он давно мечтал об этом дне – и он наступил. Наступило и окончилось первое в его жизни и в жизни его детей рабочее воскресенье. Значит, сломалась испоконвечная традиция и заповедь, а значит, можно ломать и дальше, и тогда они найдут свой путь к Господу и получат его благословение на всю дальнейшую жизнь. Ведь если бы древнее учение было верно, то давно бы уже на земле возникло царство Божее и не творилось бы столько зла, и не пришлось бы его деду уводить за собой в тайгу единоверцев, преследуемых плутами-священнослужителями, служившими прежде всего себе, а уж потом Господу.

Владимир, придя домой, стал на колени перед иконой Богородицы и протянул к ней руки, показал ей ладони. Взгляд Богородицы был добрым, но смотрела она куда-то дальше, сквозь Владимира, и он, сам внимательно осмотрев ладони, поднялся с колен. Ощущения греха не было, как, может быть, не было и самого греха.

Будние дни принесли будние хлопоты, а следующее воскресенье снова собрало их у широкого кедрового чурбана. Отец объяснил сыновьям, какую форму придать колоколу, и работа вновь продолжалась до предзакатного солнца. Когда оно, багровое, опустилось за далекие деревья, все уже входило в свои дома. Николай удивился тому, как быстро он привык к буднему воскресенью. Иван Тимофеич радовался, что работа движется и скоро зазвучит в сердце тайги новый колокол, взывающий к Богу.

Сыновья по вечерам задумывались о том, как будет звенеть деревянный колокол, и не могли себе этого представить. Отца об этом не спрашивали. Вдруг подумает, что они сомневаются: а зазвучит ли колокол вообще. Сомневаться в его словах и делах нельзя было. Надо было ждать. И они терпеливо ждали.

Колокол под руководством Ивана Тимофеича приобрел форму и стал похож на огромную деревянную улитку высотой в человеческий рост.

Пришло еще одно воскресенье, и Иван Тимофеич послал сыновей в тайгу: пусть делают, что хотят, – охотятся, грибы собирают, но чтобы до заката в скиту не появлялись.

Оставшись один, Иван Тимофеич присел у деревянной улитки.

Поточил точильным камнем острие топора. Встал, опрокинул будущий колокол на бок и, примерившись, стал вырубать в днище выемку.

Работал медленно и аккуратно, почти без размаха. Закончил, когда рука уходила в дупло почти по локоть. Дальше топор был уже без надобности. Иван Тимофеич передохнул недолго, потом собрал хворост и зажег костер рядом с будущим колоколом. Присел погреться и залюбовался огненным узором горящего древесного мха. Огонь мелкими искорками торопливо бегал по сине-зеленой мшистой коре, не спеша приниматься за сухое дерево.

«Ишь ты, – подумал старик. – Огонь и тот вкус знает, сперва съедает самое красивое».

Приблизилось полуденное время. Иван Тимофеич сходил в дом и принес несколько картошин, после чего разделил огонь на два костра. Слизав огненным языком мох, пламя взялось за дерево, и вскоре оба костра полыхали жаром. Тогда Иван Тимофеич растормошил один костер, перебросил горящие ветки во второй, а в оставшийся жар бросил картошку. Пускай печется. Сам же снова поднялся и возвратился к своему дому.

Вернулся с сапой в руке и положил ее ржавое жало в огонь. Когда оно раскраснелось – сунул его в вырубленное дупло. Дерево жалобно зашипело и поддалось силе раскаленного железа. Иван Тимофеич снова бросил сапу в огонь.

Работа продвигалась. На душе у старика стало как-то особенно хорошо. Он радовался огню, который помогал выжигать раструб колокола, радовался, как ребенок, и от этого работал задорно и так же задорно перебрасывал с ладони на ладонь вытащенную из второго кострища картошку, дул на нее, разламывал и ел. Время шло быстро и радостно. К вечеру в дупло уходила вся сапа с рукояткой. На том Иван Тимофеич остановился и ушел в дом ожидать сыновей. А костер, догорая, пытался осветить выжженное дупло.

Дома Иван Тимофеич уселся на лавку у окна, и на смену радости пришла усталость, усталость не одного дня, а всей прожитой жизни. Он посмотрел на небо и подумал о своей душе, которой скоро придет время вознестись туда же вверх, к Господу, к звездам. И подумал он еще о том, что будет его душе холодно зимой в ночном небе, ведь она – не тело и одеть ее не во что. Глаза закрылись, и думы Ивана Тимофеича перебрались в сон, где он продолжил смотреть в ночное небо и видеть холодные звезды.

Сыновья, побродив весь день по окрестной тайге, возвратились к скиту. Остановились у догорающего костра и осмотрели выжженное дупло. Там же молча присели. Старший, Владимир, подбросил хворосту и огонь ожил, потеснив вечерний сумрак. Осветил бородастые лица, заплясал по ним бликами. Треском прогнал тишину.

– Значит, скоро уходить нам... – нарушил молчание средний брат Николай.

– Значит, скоро... – кивнул Владимир.

– Была бы тропа, я б давно ушел! – скороговоркой проговорил Андрей.

Владимир и Николай посмотрели на младшего брата как на младшего.

– Ты словно и не здесь родился, – сказал с укором Владимир.

– Нет такой заповеди, чтобы смерть ждать там, где родился, – ответил Андрей.

Братья посмотрели на него твердо, словно хотели изменить в нем что-то силою взглядов своих. Младший брат взгляды их выдержал.

– А вы не хотите уходить? – спросил их Андрей после молчаливых переглядок.

– Хотим, – ответил Владимир. – Но не говорим об этом. Родину, коли даже покидаешь ее, нельзя не жалеть...

– А отец наш хочет уходить? – снова спросил Андрей.

– Отец жив, – поднял взгляд от огня Николай, – и его деяния – воля его и Господа...

Разговор не вязался, и если бы не было костра, оставленного Иваном Тимофеичем, то ничто б не заставило братьев собраться вместе и задуматься о желаниях друг друга в этот летний вечер. Но костер был, и тепло его объединяло братьев сильнее, чем ощущение кровного родства. И не потому так было, что не любили они друг друга. Нет, наоборот, они боялись потерять эту любовь. Они знали, что рано или поздно им предстоит дорога. Они отправятся на поиски людей и, найдя их, возможно, потеряют друг друга, растворившись в мирской жизни, в суете человеческого многоголосья. А не от этого ли многоголосья уводили свои семьи в тайгу их предки? Не от того ли они бежали, к чему сейчас братья стремились? Вопросы мучали братьев, просились на язык, хотели зазвучать этим вечером, но крепко сцепили братья зубы и ни один из них не поделился своими сомнениями, будто и не было никаких сомнений, а только твердая вера в Провидение.

Так сидели они долго, слушая треск костра и крики ночных птиц. Сидели и думали. И даже захотев спать, зевали, но не уходили, ожидая, когда потухнет костер, и в то же время подбрасывая в него веток. Под утро собранный хворост закончился, и огонь стал затухать. Братья поднялись и вошли в скит, в ворота, которые никогда не запирались.

Неделю спустя, воскресным утром Иван Тимофеич сказал сыновьям, что колокол готов и надобно его поднимать.

Сыновья осмотрели еще раз деревянную улитку.

– Куда же его поднимать? Колокольня давно рухнула, – задумался вслух Николай.

– А языка-то в нем нет! – удивился Андрей.

– И не должно быть, – ответил младшему сыну Иван Тимофеич. – Это тебе не бронза, что зазвенит от любой руки, потянувшей за веревку.

– А как же он?.. – спросил Андрей, глядя на отца.

– Это гудоколокол, – сказал отец. – Поднимем его туда, к ветру, и от ветра же он загудит. И ни одна рука грешная его не коснется. Ни одна! И ни один человек не сможет заставить его звучать, а только ветер, потому как в ветре больше Господа, чем в человеке...

И отец осмотрел старые кедры, уносящие свои кроны в небо рядом со скитом. Особо понравился ему один ствол с по-ежки торчащими от земли вверх сучками.

– Вот наша колокольня! – похлопал Иван Тимофеич ладонью по кедру. – Андрей, принеси-ка смольной веревки сколько есть мотков, а ты, Николай, разыщи крюк железный от бороны и сюда носи.

Младший и средний братья пошли в скит, а у деревянного колокола остались Иван Тимофеич и Владимир.

– Перед тем, как уходить станем, – заговорил отец, – надо будет могилы убрать и полить, коли дождей не будет.

– Ведь давно уже не убирали... – согласился старший сын.

– Я убирал, – признался отец.

– А уйдем – так зарастет все, – с сожалением качнул головой Владимир.

Отец хотел что-то ответить, но, набрав в грудь воздуха, выдохнул его тяжело при виде младшего сына, принесшего три мотка веревки.

– Свяжи их меж собой крепко и полезай на верхушку, перекинь через толстый сук, – распорядился Иван Тимофеич.

Андрей занялся узлами, а тут и Николай подросел со здоровым ржавым крюком. Вбили его обухом топора в верхушку колокола, проделали несколько раз сквозь крюк конец веревки и туго завязали.

А Андрей тем временем уже карабкался по сучковатой лестнице к верхушке кедра. Длины черной смольной веревки хватило не только до верхушки добраться, но и вниз опуститься. Владимир схватил второй конец веревки, опустившийся с дерева, натянул его, отойдя на два шага назад, и так стоял, ожидая, когда брат вниз слезет.

– Ну, благослови нас Господь! – выдохнул Иван Тимофеич и тоже взялся за веревку.

Так они вчетвером, ухватившись за один конец, потянули веревку на себя, и сдвинулся с места деревянный колокол, подполз сперва поближе к кедру, оставив на земле широкие царапины, а потом стал медленно подниматься вверх. С тяжким напряжением, с дрожью в мускулах работали Иван Тимофеич и трое его сыновей, перехватывая царапающуюся смольную веревку, но видели они, что с каждым усилием все выше взмывает гудоколокол и все меньше остается до вершины, и еще сильнее напрягались они, спеша возрадоваться окончанию богоугодного дела.

Но дело вдруг остановилось, когда гудоколокол уперся в один из длинных сучков, что был недалеко от кроны. И полез тогда вверх Николай, чтобы помочь колоколу повыше

забраться. И еще тяжелее стало втроем удерживать деревянную улитку колокола Ивану Тимофеичу и двум его сыновьям. Но силы у них хватало, и дождались они, пока Николай очистил путь колокола к небу и вернулся к ним, чтобы могли они снова вчетвером потянуть на себя черную толстую веревку.

– Стой! Хватит! Дошел, кажись, – скомандовал хриплым от напряжения голосом Иван Тимофеич, всматриваясь зорко в крону дерева. – Теперь надо закрутить веревку вокруг ствола навечно...

Так Иван Тимофеич и Владимир держали натянутую веревку уже у дерева, а Николай с Андреем обкручивали ее конец вокруг ствола, завязывая многие узлы.

Вскоре отпустили веревку отец и старший сын, и тетивой лука метнулась она к дереву, отчего посыпалась на землю содранная кора. Замерли отец и сыновья, вглядываясь вверх и ожидая услышать звук. Но было тихо, ветер не шептался с кронами, и мир клонился к вечеру.

У всех болели руки, но сильнее боли была гордость за сделанное, гордость за вознесенный их руками к небу колокол, который хоть и молчит пока, но обязательно загудит и призовет Господа указать им путь, указать им выход к людям, не ждущим их, но могущим помочь, принять и понять их. А если даже не поймут их люди, но хотя бы примут, если даже примут только для того, чтобы отдать за братьев своих дочерей, – все равно не будет поздно увести свои будущие семьи снова в тайгу и построить новый скит, чтобы жить в единой вере, в единой радости и, когда приходит время, в единой скорби. Ведь разделенная скорбь легче проходит, как и разделенная радость громче звучит и длится дольше.

Долго стояли они под кедром в ожидании ветра, но время вслед за солнцем уходило в закатную сторону, и даже таежная жизнь затихала, приближаясь к ночи. Нерушимая тишь затаила дыхание людей, и стояли они в каменном оцепенении, подняв глаза к небу и рассматривая на его темно-синем фоне дело рук своих.

Солнце спряталось, но по его следам на небо забиралась неторопливая круглая луна, и было ясно, что наступает ночь. Где-то недалеко завыл пронзительным воем волк. Криком ответили ему ночные птицы. Андрей, опустив голову, заметил ежика, бегущего в открытые ворота скита.

– Не надо так ждать... – выдохнул Иван Тимофеич. – Зазвучит – сразу услышим. А ветра, должно быть, не будет ночью – вон экая яркая луна там...

И вернулись они по своим домам. Иван Тимофеич сел на лавку у окна, по привычке глянул в небо – и тут голова его закружилась. Горечь подкатила к горлу. Руками он схватился за живот, откуда рвалась наружу резкая незнакомая боль.

– Неужто надорвался! – прошептал Иван Тимофеич, осев на лавку и поджав под себя ноги. – Неужто...

И послышался ему звук, протяжный и зовущий, но не было сил ни встать, ни глаза открыть.

Так же встрепенулись от звука братья, но, прислушавшись, успокоились – снова выл волк, видно, не давала покоя его душе такая яркая и низкая луна.

Утром Иван Тимофеич проснулся и почувствовал, что за ночь лет десять прожил. Руки тряслись, назойливо болел живот. Страшно ему стало от того, что увидят сыновья отца своего таким разбитым, словно он в лапах у медведя побывал. Поднялся он с лавки и вышел на порог дома. Присел на ступеньку деревянную и замер. И ничего не услышал он, кроме тишины, подобной той, что звучала прошлым вечером, пока не прогнал ее волчий вой.

И задумался Иван Тимофеич. Задумался о том, что не нужна тишина в этом мире. Ведь наверняка она была и до того, как мир был создан Господом. И если мир пришел на смену тишине, то не должно быть ей места в природе. Не зря же есть разные птицы для дня и ночи, и разные звери есть для каждого времени суток, и все они издают звуки, все они наполняют землю ощущением жизни. Кричат, шипят, воют, поют, лают... К чему же эти молчания при-

роды? Ведь не спит она. Ведь все вокруг, как и земля сама, находится в постоянном движении, в постоянном дыхании. И все же приходят они, эти молчания природы, и жутко становится на душе, и не хочется, но все равно о смерти задумываешься, хотя и там, на том краю, первый шаг от жизни к смерти не проходит в тишине. Какой в ней смысл?! А и то может быть, что появляется она вопреки воле Господа и сотворена противниками жизни...

А солнце поднималось над этой тишиной так же беззвучно, и было оно еще слабым, не ярким, а словно воском покрытым. И даже не сощурился Иван Тимофеич, глядя на него, но не думая о нем. Снова поднялось светило, снова утро, все будет снова и снова, и что бы ни происходило внизу, на тверди земной, всегда придет час рассвета, и поднимется оно и осветит происходящее, никак не влияя на него, а только разбивая поверхность на свет и тень. И то, что в тени останется, никто не заметит. И мимо пройдет. Ведь тень – это как бы крест, который солнце поставило на чем-то. А попробуй лишить росток земной солнечного света, наведи на него тень – и все. Вспять вернется он в землю. Как все живое возвращается, перегорев жизнью и устав от нее. Но возвращение – это тоже движение, и не может оно быть неслышным, беззвучным, как тишина. Не должно быть.

А солнце поднималось над этой тишиной, над тайгой, над земной жизнью. И звук этой жизни неожиданно ворвался в уши Ивана Тимофеича пеньем птиц, треском и шорохами леса. И снова взглянул он на светило – и тут же сощурился. Словно растопился воск и полилось вниз солнечное сияние, ошпаривая своими кипящими лучами глаза смотрящих вверх и травы, верхушки деревьев и мох на мертвых стволах. Может, не было этого молчания природы, может, и не было тишины? Просто не слушал он жизнь, прислушиваясь только к своим мыслям и сомнениям, к своим дрожащим рукам, к своим болям. И заглушили эти внутренние звуки весь живой мир, и показалось ему все живое вокруг мертвым, а все движение, происходящее вне его, – тишиной. Так бывает, когда ждешь услышать себя более, чем жизнь. Когда жизнь кажется чем-то отдельным от тебя, не имеющим к тебе никакого отношения. Так бывает, когда, не сощурившись, глядишь на солнце и думаешь о силе своего взгляда.

А солнце тем временем восходит, разделяя мир на свет и тень.

Когда солнце поднялось на небо, вниз на землю опустился ветер. Опустился и принялся ерошить травы и кусты, раскачивать кедры и лиственницы. Он подхватывал прыгающих белок и помогал им долетать до ветвей соседнего дерева. Он игрался, меняя направление, смешивая прогретый воздух с прохладным, выталкивая его из тени прямо на солнечные лучи, в свете которых он терял свою мифическую прозрачность и становился наполненным миллиардами копошащихся пылинок. Играясь, ветер проходил гребнем по кронам, которые от его прикосновений роняли на землю ослабленные и высохшие ветки.

И зазвучал колокол. Словно завопил попавший в него, как в ловушку, ветер. Содрогнулось от этого звучания все живое, способное слышать. Притихли птицы и звери, и на мгновение застыло на месте солнце, не добравшееся еще до зенита.

А гудок колокол не умолкал, и в гудении своем собрал он все звуки живого отчаяния и одиночества, соединив вой волка с воем собаки, зимнюю вьюгу с плачем ребенка. И разлился над окрестной тайгой этот звук прорвавшегося одиночества, боли, ветра, пойманного в ловушку. И все-таки боли, поднявшейся высоко вверх, высоко в небо над всей тайгой, над всей страной, над всем миром.

С кедра, на котором висел гудок колокол, сбегала вниз белка, раздумав прыгать на соседнее дерево, и посыпалась за ней следом крошка коры, сцарапанная ее острыми когтями. А рядом закричала птица и, испугавшись того, что не услышала она своего крика, захлопала крыльями и полетела, петляя между стволами и боясь подняться над кронами деревьев, где звучание гудок колокола было громче и отчаянней.

Иван Тимофеич соединил ладони свои, пытаясь сдержать дрожание рук, и слушал колокол. Губы его шевелились, проговаривая молитву и выдыхая боль. Себя он не слышал

и не думал о себе более. Природа возвратила его себе, сделав частью всего живого, объединив все живое гнетущим звучанием гудоколокола. Замерли, каждый у своего дома, сыновья Ивана Тимофеича. Стояли там, где услышали колокол. Стояли и слушали, не двигаясь. Слушали и наполнялись его звучанием, а через его звучание – отчаянием и болью. И хотелось им бежать от этого места, от этого страшного звука, во власти которого они чувствовали себя безропотными и покорными рабами. И хотели они бежать, но стояли не двигаясь. А звучание опускалось вниз, проливалось на землю и топило ямки и выбоины, заполняя сначала их, а потом поднимаясь все выше и выше, как поднимается вода в половодье. А звук все льется и льется вниз, и они, люди, стоят уже по пояс в этом вое, и чем выше он поднимается, чем ближе к ушам их – тем нестерпимее им слушать его.

Не смог дольше сидеть на крыльце Иван Тимофеич. Собрал силы и вернулся в дом, заперев за собою двери. Сел на лавку. И здесь было слышимо звучание гудоколокола, но не так громко, не так нестерпимо. Закрыв уши ладонями. И глаза закрыл, но так и не услышал свои мысли, не ощутил себя, словно и изнутри уже наполнился звучанием колокола.

А ветер, уставший от ловушки, обмяк, замедлился, и стал затихать колокол.

Очнулись братья, ожили, когда гудоколокол едва звучал. Ожили они, посмотрели напряженно вверх, на крону кедра-колокольни, и взгляд их прошел сквозь крону, ушел дальше в небо, где наткнулся на черное облако, маленькое, необычное, похожее на огромного небесного сома и цветом, и формой.

– Знамение! – вырвалось у Владимира.

Побежали братья к дому отца своего. Поднялся он с лавки, вышел на порог. Рука старшего сына увела его взгляд высоко в небо, где увидел Иван Тимофеич нечто плывущее черное.

А в небе спокойно и мирно плыл черный дирижабль. Он летел над тайгой в куда угодно направлении. В гондоле дирижабля никого не было, хотя посредине ее и стояла табуретка, на полу валялся мелкий мусор, а в углу находилась большая картонная коробка, вмещавшая больше тысячи пачек сигарет «Друг».

– Нет, – помолчав, ответил Иван Тимофеич. – Знамение не бывает черным... Оно – свет. Как в Писании есть «радуга в облаке...»

– А что же это? – спросил Андрей.

Задумался снова Иван Тимофеич, а черное облако между тем ушло из видимости, оставив увидевших его в смутном непонимании.

– Не знаю, – признался отец. – Может, дело рук природы или иных сил...

– Но иных, кроме сил Господа, не бывает! – напряженно выдохнул Андрей и заглянул отцу в глаза.

Иван Тимофеич пожал плечами.

– Может, дело рук времени, иного времени... – почти прошептал он, проведя ладонью по лбу. – Я ведь сбился с него, со времени... Давно сбился. И воскресенье у нас – только седьмой день по счету...

А гудоколокол звучал протяжно и негромко, и стала снова слышимой на фоне его жизнь тайги. Ветер пробежал по травам, едва касаясь их, кружился на одном месте, замирал.

– Завтра снова седьмой день... – произнес Владимир и вопросительно глянул на отца.

Иван Тимофеич кивнул.

– Будем ждать знамения.

И утром, и днем, и ночью выходили братья во двор и смотрели во все стороны, но тщетно.

Иван Тимофеич из дому не выходил. Хворал. Впервые лавка казалась слишком жесткой для спины, но лечь в кровать, в которой спали они раньше с женой, не хотел. Боялся, что с

кровати ему уже не встать. Под вечер шестого дня услышал чей-то громкий крик. Выглянув в окошко, никого не увидел. Вышел во двор.

Колокол гудел негромко и монотонно, будто устал.

– Эй, есть кто? – снова закричал кто-то со стороны ворот.

Иван Тимофеич торопливо зашагал на голос, на первый незнакомый голос, услышанный в своей жизни. «Кто же это сюда?» – взбудораженно думал он.

– Да есть здесь кто? – снова спросил голос, на этот раз уже тише и, казалось, испуганно.

Подойдя к воротам, Иван Тимофеич остановился. Рядом с ним остановились Владимир и Андрей, минутой позже подбежал Николай.

Перед ними стоял невысокого роста немолодой человек в военной форме. Перед ним – тачка на одном деревянном колесе, а на ней какие-то круглые плоские предметы и мешок.

– Хозяева? – спросил он и сделал шаг в сторону от тачки.

Иван Тимофеич заметил, что у незнакомца одна нога деревянная.

– Что это за село? Как называется? – спросил незнакомец.

– Никак, – ответил Иван Тимофеич. – Скит это.

– Сектанты, что ли? – нахмурился пришлый.

– Христиане, – ответил Иван Тимофеич. – А вы-то кем будете?

– Инвалидом буду. По фамилии – Кортецкий, – гордо отрекомендовался человек в военной форме. – А вы почему не на войне?

Сыновья недоуменно посмотрели на отца.

– С кем? – удивленно спросил Иван Тимофеич.

– Ну как же, у Родины столько врагов: фашисты, японцы, финны. Вся страна воюет...

– Сейчас?! – вырвалось у Андрея.

– Да... – оторопело ответил инвалид. – А вы что, не знаете?

– Мы уж давно от мира удалились... – пояснил Иван Тимофеич. – Какая хоть там власть сейчас?

– Какая-какая... – заторможенно забубнил Кортецкий, глядя на свою деревянную ногу.

– Не, ну какая же... – не унимался Иван Тимофеич. – Если те, что раньше были...

– Когда любишь Родину – власть не имеет значения! – твердо отрубил инвалид. – Я, может, тоже власть не люблю, но ради Родины сюда вот забрался! Эти штуки притащил, чтоб все знали, какая она, правда, сегодня... – и он кивнул на тележку.

– А что это? – поинтересовался Андрей.

– Посторонись, секта! – незлобиво буркнул Кортецкий и, взявшись за тачку, принялся толкать ее в ворота.

Иван Тимофеич и сыновья посторонились.

Инвалид, бойко орудуя деревянной ногой, протолкал тачку до первого дома, там остановился и оглянулся на местных жителей.

– Что встали! – крикнул он. – Идите сюда, дорогу покажете!

Иван Тимофеич медленно направился к пришлому.

– Куда тебе дорогу? Нету здесь никаких дорог! – сердито ответил Иван Тимофеич.

– В тайге нету, это мне известно... Не об том я. Где тут у вас центральное место?

– А зачем вам? – спросил Владимир.

– Та штуку одну присобачить... – инвалид исподлобья осмотрел дома.

– Нет у нас такого места, – ответил Иван Тимофеич.

– Врешь! – не поверил инвалид. – Где культовое здание?

– Какое?

– Церква! – объяснил иными словами Кортецкий.

– Там, – показал рукой Иван Тимофеич.

– Пошли, христиане! – скомандовал пришлый.

И они направились к часовне, до которой было шагов тридцать. Инвалид толкал тачку. Рядом с ним шел Андрей, рассматривая незнакомые круглые предметы, похожие на черные миски.

– А что это тут у вас воеет? – на ходу спросил инвалид.

– Колокол, – ответил Андрей.

Инвалид тяжело вздохнул и недовольно мотнул головой, молча удивляясь.

Подошли к часовне. Иван Тимофеич, кося одним глазом на Кортцецкого, отпер дверь. Инвалид взял с тачки одну круглую штуковину и залез внутрь. Тут Иван Тимофеич заметил, что за штуковиной этой потянулась какая-то тонкая веревка.

Все зашли в часовню. Инвалид пристально осматривался. Остальные так же пристально следили за ним.

– Повезло вам вообще-то, – проговорил он. – Будь вы где поближе к Родине – взорвали б вам давно все это христианство. У нас на борьбу с опиумом динамиту не жалеют. Ладно. Дайте с тачки молоток! И свечу зажгите.

– Мы свечи зря не жжем, и спички попусту не тратим. Они еще прадедовские.

Андрей выскочил за молотком.

– Вот! – Кортцкий протянул коробок Ивану Тимофеичу.

Тот зажег свечу и осветил часовню.

Инвалид подошел к середине иконостаса, вытащил из кармана гимнастерки гвоздь и заколотил его на половину в деревянного распятого Христа. А после нацепил на гвоздь круглую штуковину.

– Ну вот, – удовлетворенно выдохнул он. – Теперь и вы услышите голос Родины... а то сидят в тайге, а там миллионы умирают на фронтах...

– А как оно называется? – спросил Андрей, показывая взглядом на круглую штуковину.

– «Сковородка» – по-простому, а так – радио, – объяснил инвалид. – Сегодня поздно уже, а завтра заговорит, ей-богу, заговорит! Будете слушать, секта!

И Кортцкий обвел местных жителей колючим презирающим взглядом; только на Андрея его взгляд потеплел.

– Ну все, я у вас тут же переночую, а рано утром дальше уйду.

– Располагайся, божий человек, – Иван Тимофеич закивал и вышел из часовни.

За окошком в наступившей темноте гудел колокол, но была слышима и жизнь. Кричали птицы.

Инвалид, оставшись один в часовне, расстелил под иконостасом шинель и улегся на нее. Уже лежа, он чиркнул спичкой, и она, загоревшись, осветила все внутренности тесной маленькой часовенки. Окинув еще раз быстрым взглядом стены, Кортцкий поморщился и задул спичку. Закрыв глаза, но тут услышал скрип двери.

– Кто там?! – испуганно дернулся он, увидев в открытом проеме двери желтую половинку луны.

– Я это, – ответил тихий голос.

– Я – кто? – настороженно переспросил инвалид.

– Андрей.

– Ты чего пришел? – Кортцкий приподнялся на локтях.

– Спросить.

– Ну?

– А правда, что Родина в беде? – дрожащим голосом спросил Андрей.

– Да-а, – протянул инвалид. – В очень большой беде, везде война, фронт, а где нет фронта – там от голода мрут. Плохо.

– А Москва?!

– Ну, в Москве не мрут, конечно, но и там плохо. В окружении она. Я вот за Родину ногу отдал. А теперь последние силы отдаю...

– А утром вы куда?

– Дальше. У меня еще три «сковородки», присобачу их где-нибудь у людей, которые ничего не знают, и назад буду двигать.

– А можно с вами пойти? – голос Андрея задрожал.

– А тебя твои сектанты не прибьют, если словят?

– А мы до рассвета, я знаю, как к речке выйти, а ни отец, ни братья этого пути не ведают.

– К речке – это хорошо... Но если пойдешь, надо будет тебе меня слушаться...

– Буду, – пообещал Андрей.

– Ну вот, тогда первый приказ: всю ночь стеречь тачку, а перед рассветом разбудишь меня и тронемся.

– Хорошо, – кивнул Андрей.

– Не-е, – перебил его инвалид. – По-военному надо отвечать: «Слушаюсь!»

– Слушаюсь, – прошептал Андрей.

– Хорошо, иди.

Андрей тихонько запер за собой дверь и сел возле тачки, облокотившись о крыльцо часовни. Сверху светили звезды и гудел гудоколокол.

Андрей улыбнулся. Пока отец и братья дождутся знамения, он будет уже далеко.

Спать не хотелось. Всю ночь наблюдал он за небом, и показалось ему, что звезды движутся вслед за луной. А когда предлучи еще не показавшегося солнца разогнали мрак, Андрей живо поднялся на ноги, зашел в часовню и, помолившись, разбудил инвалида.

– Как там нас утро встречает? – Кортеецкий заерзал, приходя в движение.

– Хорошо, – ответил Андрей.

Инвалид встал, скрутил шинель, и они вышли. Остановились у тачки, где инвалид сунул шинель в мешок.

– Теперь ты будешь катить ее, – сказал он. – Тот, кто приходит позже, становится младшим по званию.

Андрей кивнул, взялся за две расходящиеся деревянные ручки и направил тачку к воротам. Инвалид зашагал рядом, озираясь на солнце и улыбаясь сдержанной радостью. Выйдя за ворота, они на минутку остановились. Андрей поклонился скиту, а инвалид обвел постройки ехидным взглядом.

– Давай быстрее, а то здесь и останешься! – поторопил он Андрея.

Единственное колесо тачки поскрипывало жалобно, наезжая на ветки, опавшие с крон. Андрей спешил, старался, хотя бессонная ночь уже давала о себе знать. И исчезло куда-то звучание колокола, к которому, казалось, он уже привык, как к чему-то неизбежному и постоянному, как небо. А может, просто бессонная ночь отлучила его временно от слуха, и не успел он обернуться на кедр-колокольню, надеясь, что в последний раз, как услышал недовольное бурчание инвалида:

– Гудит, проклятый!

Андрей глянул на Кортеецкого испуганно и тут же возвратил свой взгляд на тачку. И сам услышал гудоколокол, воющий протяжно и негромко. И пропало желание обернуться и посмотреть напоследок вверх.

Утром Владимир и Николай разбудили отца.

– Андрей ушел, – сказал Владимир. – Я видел их.

– И не остановил?! – спросил Иван Тимофеич, поднимаясь с лавки.

– Нет.

– Да, – кивнул отец. – Не надо было. А вы? Не хотели с ним?

– Мы будем ждать знамения, – твердо произнес Николай и опустил голову. – Зная лишь полдороги, не дойдешь до ее конца.

– Да, – Иван Тимофеич сцепил ладони. – А ведь он звучит. Звучит! – и глаза его загорелись. – Главное, верить, верить и ждать. Терпеливым все отблагодарится. Ведь звучит он?

Братья кивнули.

Иван Тимофеич встал.

– Какой сегодня день?

– Третий, – ответил Николай.

– Третий?! – повторил сам себе отец. – И был вечер, и было утро, день третий... И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов... Не буду я переписывать учение. Каждый волен изменять только им самим написанное.

И вышел Иван Тимофеич на крыльцо, вдохнул утреннего воздуха. Вдохнул свежести и звуков. Почувствовал тепло солнца и подумал о своем младшем сыне, пожелал ему небесно-конечного пути.

Зайдя в часовню, отец и его сыновья оставили дверь отпертой, чтобы впустить внутрь солнечные лучи. Лучи осветили нижний ряд иконостаса и ноги распятого Христа. И зазвучал в часовне троясвенный шепот, а когда затих, вместо тишины воцарилось звучание гудкоколока, и долго еще не вставали с колен молящиеся, слушая это звучание и наполняясь им.

Вышли они из часовни, но дверь не закрыли.

А лучи солнца опустились, сползли с иконостаса и освещали теперь деревянный настил пола. Ожила, зашипела вдруг черная «сковородка», прибитая инвалидом к распятию, и строгий далекий голос заговорил размеренно, оставляя между словами длинные пространства-паузы: «Передаем сводку Совинформбюро. Прослушайте сигналы точного времени: в Москве, Ленинграде, Киеве – 1945 год, лето, в Перми, Норильске, Магнитогорске – 1943 год, лето, в Усть-Илиме, Воркуте, Анадыре – 1939 год, осень. Сообщение для Перми, Норильска, Магнитогорска и районов Восточной Сибири: после тяжелых продолжительных боев советские войска оставили Крым, враг понес серьезные потери в живой силе и технике...»

Словно заметив, что в часовне никого нет и никто не слушает этот далекий голос, «сковородка», издав какой-то кашляющий звук, замолчала.

Настал вечер.

На краю неба проклюнулась первая, еще тусклая из-за неполной темноты звезда. Где-то рядом заухал, проснувшись, филин. Пришло время просыпаться спавшему и засыпать бодрствовавшему. И вдруг в том месте, где только-только было красное солнце, поднялся яркий столб света, как бы защищая землю от падающего ночного неба, от его темных сил, созидающих ночь.

– Гляньте! – крикнул Иван Тимофеич сыновьям.

Обернулись они и замерли.

– Неужели дождались... – шептал Иван Тимофеич, и в глазах у него блеснули слезы. – Счастье какое...

– Что же теперь? – спросил старший сын, и в его голосе зазвучали растерянность и надежда.

– Собирайтесь, – сказал отец, не сводя взгляда с яркого столба. – Берите хлеб, одежду.

Побежали сыновья собирать свои котомки. А отец остался стоять. Между ним и далеким горизонтом сияло знамение Господа, указующее путь.

Владимир и Николай подошли к отцу.

– Благословляю вас в путь, – заговорил отец. – Путь далекий, но, пройдя его, вы выйдете туда, где исполнятся ваши чаяния.

– А вы, отец?! – спросил Владимир.

– Я не пойду. Сил у меня уже мало, но верю, что смогу отдать долг и за себя, и за вас...

Братья замолчали, переглянулись.

– Да и оставив меня здесь, вы чаще будете вспоминать, откуда пришли... Слишком старый я для дороги... Идите. Путь очень далекий, и идти придется вам ночами.

Владимир и Николай неподвижно стояли перед отцом, не сводя с него глаз.

– Идите же! – чуть не закричал Иван Тимофеич.

Владимир переступил с ноги на ногу. Николай потупил взгляд.

– Палкой мне вас гнать, что ли?! – рассерженно спросил отец.

Владимир подошел к отцу, обнял его и зашагал к воротам. То же сделал Николай.

Они ушли, а он стоял и не сводил глаз с яркого столба, в сторону которого только что ушли его сыновья. Ушли, чтобы больше никогда не вернуться.

Знамение продолжало сиять, светить, и подумал Иван Тимофеич, что будет оно сиять каждую ночь, пока не дойдут его сыновья к заветной цели, пока не выйдут они к людям, с которыми останутся.

И обрадовала его эта догадка. Так, по крайней мере, сможет он узнать, когда закончится путь их.

Утром четвертого дня Иван Тимофеич пошел на кладбище. Взял с собой сапу и лопату. Первым делом подошел к могиле жены и остановился в оцепенении: крест, вырубленный из молодой лиственницы несколько месяцев назад и тогда же поставленный, корней не дал и высох. Опустил он сапу и лопату рядом на землю и обвел кладбище взглядом, и не по себе ему стало. Даже некогда проросшие кресты, превратившиеся позже в причудливой формы деревья, стояли теперь сухими. Быстрым шагом подошел Иван Тимофеич к могиле деда своего и увидел, что покрыта она корою, сброшенной с себя мертвым кедром. Забил Ивана Тимофеича озноб. Оглянулся он еще раз и увидел, что на всем кладбище лишь одно живое дерево осталось – старая дикая груша, уродливый ствол которой стелился на безвестной могиле. Иван Тимофеич подошел к ней и услышал гудение шмеля, кружившего у ее цветков. Груша цвела, и вспомнил Иван Тимофеич, как бил его отец за то, что с другими ребятами срывал он плоды с этого дерева.

«Значит, снова плоды будут... – подумал он, глядя на дикую грушу, и понял, что не хозяин он больше в скиту. – Кому же теперь они достанутся? Кто их срывать будет?!»

И побрел Иван Тимофеич назад к дому, оставив и сапу, и лопату. Тяжело было на душе, но не с кем было поделиться. И оставил он в себе эту горечь, как оставлял в себе многие тяжелые раздумья и печали. Не думал он о том, что душа человеческая не бездонна и не все она выдержать может. Не думал о том, что даже спрятанная глубоко в душе горечь останется горечью, а печаль – печалью, и если не поделиться ими, не растворить их среди людей, способных разделить с тобой и горе и радость, то, накопившись, соединившись с другими печальями, вырвется все тяжкое наружу и приведет тебя в отчаяние, и не возникнет в тебе желания превозмочь боль. А не превозмогая боль, ты покоряешься ей.

И стал Иван Тимофеич ждать вечера. Торопил он мыслями солнце, желая ему скорейшего заката. Нетерпеливо поглядывал на него. Так весь день и прошел в ожидании заката, и когда свершился закат и спряталось солнце, то не поднялся больше на месте заката яркий столб, не осветилось небо в той стороне, а самыми яркими оказались луна и звезды. Замер Иван Тимофеич, не веря глазам своим. Подождал еще, пока не поднялась луна. Потом опустился на крыльцо дома.

«Что же он?! – лихорадочно думал Иван Тимофеич, глядя на небо. – Или я ошибся?! Но не выйдут же они из тайги без него! Хоть бы сюда их вернуть! Хоть бы дать им знак...»

Словно спохватившись, Иван Тимофеич пошел в часовню, нащупал там на окошке коробок спичек, оставленный инвалидом, и, зажав его в руке, направился в дом.

Взял топор, стал рубить лавку. Щепки летели в разные стороны. Собрав их, Иван Тимофеич чиркнул спичкой и попробовал разжечь маленький костер прямо на деревянном полу, но щепки не взялись огнем, и спичка затухла.

Тогда он собрал щепки и вернулся в часовню. Там положил их на пол.

Достал свечу, зажег.

Бросил напряженный взгляд на черную «сковородку», прибитую к распятому Господу. И стал аккуратно выкладывать из расщепленной лавки шалашик-костер. Закончив, снова чиркнул спичкой, но она лишь облизала огоньком одну щепку и затухла. Тогда Иван Тимофеич достал несколько свечей, зажег их и уложил в середину шалашика. Щепки взялись огнем и тихонько потрескивали.

Иван Тимофеич обвел часовню ищущим взглядом, остановил его на двери. Поднялся, снял ее с петель и принялся разламывать. Сухие доски, из которых была она сколочена, поддались, и даже топор не был нужен. Выложил он их поверх шалашика и замер, следя за пламенем, медленно поедавшим щепки.

И подумал он о медлительности огня.

И о том, что огонь не выживет без дерева.

И о том, что чем дольше дерево сопротивляется огню, тем горит дольше.

О том, что природа сама растит деревья и сама рождает пламень, ускоряющий приход новых деревьев. А значит, любой пожар во благо. Значит, огонь несет обновление, уничтожая былое и настоящее.

И что есть знамение, как не пламя?! Что есть тепло, как не расстояние между огнем и протянутыми к нему ладонями?

Иван Тимофеич опустил на корточки у еще не разгоревшегося костра. И услышал треск откуда-то сверху. Поднял голову. Шумела черная «сковородка». Сквозь шумы и хрипы прорвался далекий голос: «Передаем сводку для Воркуты, Анадыря и районов Крайнего Севера. За последнее время Советская армия осуществила ряд успешных попыток освобождения народов Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии и Бессарабии. К сожалению, не удалось освободить народ Финляндии, на многострадальной земле которой осталось лежать много наших героев, отдавших жизни за светлое будущее... Почтим же их память минутой молчания. Просим всех встать...»

Иван Тимофеич поднялся на ноги, в недоумении глядя на источник звука. Источник молчал. А костер все никак не разгорался. То ли не хватало огню силы, то ли движения воздуха. Распахнул Иван Тимофеич окошко в часовне – и сразу прохладнее стало. И увидел он в окошке луну, плывущую желтым ликом к земле.

И снова оглянулся на огонь, едва горевший. Вспомнил рассказы деда о язычниках, которые жили и веровали еще до староверов, до христиан. Веровали в огонь, в солнце и приносили огню жертву. Так, может, и этот огонь ждет жертвы?! Ведь пока вера менялась, огонь оставался таким же, как и тысячи лет назад. И так же горел, так же светил ночью, так же согревал жилища.

«Да, – подумал вдруг Иван Тимофеич. – Нужна жертва...»

Он подошел к иконостасу, взглянул на лица святых. Вынул из иконостаса икону Богородицы и прислонил ее к кострищу ликом вверх. Снова вернулся к иконостасу. Вынул «Спаса в силах», поставил рядом. Одного ряда иконостаса хватило для того, чтобы обложить иконами никак не разгоравшийся костер.

У костра, обложенного образами, опустил Иван Тимофеич на колени, закрыл глаза и зашептал молитву, но в конце ее не произнес «Аминь», а просто замолчал. И глаза откры-

вать не захотел. Слушал негромкое звучание колокола и проступавшее на его фоне тихое потрескивание костра.

И вдруг пришло к нему спокойствие. Пришли мысли о мудрости, и понял он, что только сейчас приблизился к настоящей, а не книжной мудрости. Ведь истинная мудрость заключается не в созидании и укреплении уже созданного, даже если оно верно. Высшая мудрость – уничтожить то, что строил всю жизнь и что предки строили. Уничтожить, поняв, что неправильно это, как дорога, уводящая от колодца в пустыню. Уничтожить, чтобы расчистить потомкам или природе место для нового созидания, для новых ростков или новых храмов.

А потрескивание костра стало громче, и заглушило оно звучание колокола.

Иван Тимофеич открыл глаза и увидел, как из проемов между иконами показались язычки пламени, начавшие облизывать огнем края ликов.

– Святые, а горят... – удивленно сказал старик, уставившись на иконы одержимым взглядом.

«Спас в силах» стал покрываться темными пятнами – доска прогорала. Святые окипали краской в огне. Шипели доски. От них шел сладковатый запах. Пламя поднялось в полчеловеческого роста. Стало жарче и ярче. Иван Тимофеич отошел на два шага и остановился на пороге часовни. С благодарностью посмотрел вверх, на ночное небо.

– А ведь можешь, если горишь! – прошептал он.

И, словно услышав его шепот, пламя разлилось по всей часовне, по стенам, по потолку. И тесно стало пламени.

Отскочил Иван Тимофеич на двор. Залюбовался устремляющимися вверх искрами.

– Ну вот, – вздохнул он. – И знамение может быть рукотворным.

А пламя поднималось, прорывалось сквозь крышу, и рухнула крыша, и стены, дрогнув, осели.

Иван Тимофеич поднял горевшую доску, выпавшую из пожара, и понес в дом. Словно факел, она осветила большую комнату. И стал он при свете этого факела сбрасывать на пол все деревянное, способное возгореться и стать еще одним рукотворным знамением.

Ночь еще длилась, но пылающий скит всюду разгонял мрак, готовясь встретить утреннее светило. А Иван Тимофеич сидел под кедром-колокольней и ловил едва слышимое в шуме пожара гудение колокола. Слушал единственный звук, который оставил он миру на память о себе. Только что эта память? Один, пусть хоть и долгий, но только звук...

## 8

Машину крепко тряхнуло – видно, попало что-то под колеса, – и от этого толчка враз проснулись и шофер, и Горыч. А машина, преодолев препятствие, уже спокойно ехала дальше.

– Камень, что ли? – предположил Горыч.

Шофер пожал плечами.

– Мне звуки снились, – сказал он. – Поезд тарыхтел, потом машина с сиреной долго верещала, потом кричал кто-то...

– Счастливый ты, – вздохнул Горыч. – Мне ни черта не снится.

– Не огорчайся. Зато ты помнишь много, а я вот почти ничего...

Оба потянулись в темноте, расправили плечи. Шофер положил по привычке руки на руль.

– Тормозни! – попросил Горыч.

– Зачем?!

– Отлить надо.

Шофер поднял рычаг ручного тормоза. Машина застыла. Щелкнула дверца, и пассажир спрыгнул в темноту.

Шофер еще разок потянулся, заложив руки за шею. Настроение было хоть садись и письмо пиши. Но кому? Где? И как отправить? Эта чертова война, а точнее, наступившая сразу после объявления войны темнота, перечеркнула не только обычный ход жизни, но и саму жизнь, погрузив ее во мрак, отрешенный от времени, от взаимодействия частей природы и ее светил. Казалось, все должно застыть в такой темноте, застыть в ожидании расвета. И действительно – если б не машина, застыли бы и они, застыли в своем темном городе и никогда б не стали странниками. Но странный мир, лежащий в полной темноте и в наклоненной плоскости, гнал машину, давно истратившую последний бензин, а в ней – двух мужчин, ищущих выход к свету.

Снова открылась дверца, и в кабине зазвучал шепот Горыча:

– Там огонек! – сообщил он шоферу. – Совсем рядом, позади машины...

– Подожди! – сказал шофер и вылез из кабины.

Они взялись из предосторожности за руки и, стараясь быть бесшумными, направились к яркой точке, дрожащей метрах в двадцати.

На полпути что-то треснуло под ногой Горыча. Они замерли и прислушались. И услышали шорох со стороны огонька. Присмотрелись.

Совсем рядом, в десяти шагах горела свеча.

Они сделали шаг вперед.

Грохнул выстрел.

Оба упали на землю.

– Убирайся вон, если еще жив! – раздался мужской голос.

Шофер и Горыч лежали не шевелясь.

– Может, ты убил его? – тихонько прозвучал голос женщины.

– Может быть, Валя, – ответил мужчина. – В этой жизни все может быть...

– Да разве это жизнь! – словно упрекнула мужчину женщина.

– Кто вы? – негромко спросил Горыч, сознавая относительную глупость такого вопроса.

– И не убил, и не волка, – досадно промолвил мужчина. – Ну так я могу еще разок выстрелить!

– Идиот! – вырвалось у шофера. – В висок себе выстрели, может, мозги заработают! Расстрелялся в темноте!

– Их там много! – испуганно зашептала женщина.

Горыч сосредоточенно пытался найти вопрос, который имело бы смысл задать в этом мраке, но каждый из возможных вопросов вызывал у него горькую усмешку. Ну действительно, о чем их можно спросить: кто? откуда? куда? Или, может быть, который час?

– Послушайте! – заговорил шофер. – Здесь какая-нибудь дорога есть?

Невидимый мужчина громко рассмеялся – даже пламя свечи затрепетало от его смеха, как от ветра.

– Может, вас еще на вокзал отвести и в поезд посадить? – сказал он сквозь смех.

– Давайте поговорим серьезно! – предложил Горыч.

– А мне не видно, кто со мной хочет серьезно разговаривать! – парировал мужчина.

– Я могу подойти к свече, тогда увидите! – предложил Горыч.

– Тогда выстрелю...

– Доверять людям надо, болван! – снова рассердился шофер.

– Доверять в темноте?! Людям?! – вместо насмешки в голосе мужчины уже звучала злость. – Каким людям?!

– А ты не дезертир? – спросил шофер.

– А твое какое дело?! – разозлился мужчина. – Убирайтесь! Если я сейчас не услышу, что вы убираетесь, – буду стрелять. Проверите свою удачу.

– Пойдем! – Горыч дотронулся до руки лежащего рядом шофера.

Они поднялись на ноги и сделали несколько громких шагов назад.

– Давайте, давайте! Не останавливайтесь! – прикрикнул мужчина, и друзья сделали еще несколько шагов.

И вдруг в темноте заплакал грудной ребенок.

– Ой, боже ж! – всхлинула женщина.

– Корми! – приказал мужчина.

– Сейчас, сейчас... лишь бы молоко не кончилось, – скороговоркой заговорила женщина.

– Я ему кончусь! Смотри у меня...

И огонек свечи снова затрепетал. Потом поднялся над землей метра на полтора и медленно поплыл прочь.

Вслед за огоньком поплыл, затихая, плач ребенка.

– Уходят... – каким-то потерянным голосом проговорил Горыч.

– А что, если барабан повернуть на горизонт и осветить? Это ж не небо – может, что и увидим?! – предложил шофер.

– Можно, – согласился товарищ. – Что осветим, то и увидим...

Они вернулись к машине. Точнее, шофер наткнулся лбом на правый борт. Так ощупью и забрались в кузов. Горыч включил тумблер, и пока разогревалась-разгоралась искорка внутри прожекторного барабана, они повернули его стеклянный глаз набок, чтобы смог он, если загорится, осветить землю. Повернули так, чтобы осветил он путь, уже пройденный машиной. Даже отбросили задний борт.

Свет копился внутри прожектора, пока не стал постепенно превращаться в луч. Осветил землю за машиной и пополз по этой земле дальше. Горыч и шофер смотрели на голую бестравную землю, всю в каких-то бугорках и рытвинах.

– Луна вот тоже такая, наверно, – вздохнув, сказал Горыч.

Шофер щурил глаза, отвыкшие от яркого света.

Его товарищ спрыгнул на освещенную дорожку.

– Давай пройдемся! – повеселевшим голосом предложил он.

Шофер тоже спрыгнул вниз.

Они пошли вслед за лучом, убежавшим по этой земле уже далеко вперед. Шофер оглянулся и тут же закрыл ладонью глаза.

– Так ты и ослепнуть можешь! Пусть в спину светит, – посоветовал Горыч. – Ты помнишь, когда последний раз по какой-нибудь улице гулял?

– Нет, – вздохнул шофер.

– А я помню... – Горыч, глядя на их удлиненные тени, взъерошил свои волосы. – Лучше бы не помнить... Хотя вот видишь, – он указал рукой на их длинные тени, – это мы на проспекте, на очень длинном проспекте, а все это темное, по обе стороны от проспекта, – дома, рестораны, киноклубы... Где-то еще деревья должны быть. И вот мы идем и наверняка кого-то встретим. В это время как раз многие должны прогуливаться. Влюбленные парочки и еще совсем молоденькие девушки, ожидающие большой и светлой любви. Старичок с собачкой, останавливающейся у каждого столба... Пионеры собирают деньги на постройку самого большого в мире аэроплана... Мы наверняка можем встретить и знакомых...

– Стой! – вырвалось у шофера, резко отшатнувшегося назад.

– Что такое? Что с тобой?

– Там что-то проскочило, – шофер показал рукой вперед. – Собака или волк...

– Вот видишь... Собака уже есть, скоро покажется и хозяин или хозяйка... Пошли...

Шофер полуобернулся к прожектору и снова прикрыл глаза ладонью. Горыч подошел к другу.

– Что с тобой?

Шофер молчал. Из-под ладони, закрывавшей глаза, выбралась слеза и, замерев на скуластой щеке, заблестела, пропуская сквозь себя яркий свет прожектора.

– Пойдем! – Горыч дотронулся до плеча шофера. – Пойдем прогуляемся по собственной улице, по собственному проспекту. Давай! Пока есть свет...

– Я не плачу, – выдавил с натугой шофер. – Это глаза болят. Глаза...

– Ну я ж и говорю: не оборачивайся! – сказал Горыч, и сам на мгновение обернулся.

– Ну пойдем, – согласился шофер, и их тени, обгоняя их тела, поплыли вперед в ярком свете искусственного светила.

Яркий свет не способствовал прозрачности воздуха. Он лишь создал разницу между темнотой и ее противоположностью, и создал тени. Горычу на мгновение почудилось, что он идет по бесконечному выкрашенному в белый цвет больничному коридору, который, как многие больничные коридоры, закончится смертью, мраком, выходом в вечность. И пробежали по спине мурашки. Он оглянулся на товарища, но тот, с каменным выражением лица, тяжело ступал вперед. Стало прохладно. Горыч выдохнул воздух, и ему показалось, что выдохнул он паром. Он еще раз набрал как можно больше воздуха в легкие и выдохнул его с силой.

– Ну вот, – заговорил вдруг шофер, – кажется, отпустило... Это ж то, о чем я спрашивал этих, что убежали... Я ведь почему дороги люблю, любые, даже тропинки? Если их не зверь, то уж обязательно человек вытоптал, а значит, что к людям они и приведут, по какой бы ни шел. Может, правда, долго идти придется. И вот здесь, как по дороге, идем. Даже детство вспомнил...

Он замолчал, ожидая продолжения разговора из уст Горыча.

Но тот, оглянувшись на товарища, помолчал, потом остановился.

– Назад пора, – твердо сказал он. – Погуляли, и хватит...

– Почему?! – по-простецки удивился шофер.

– Почему?! – кивнул головой Горыч. – Потому, что по этой дороге мы никуда не придем!

Ты по лунной дорожке ходил-плавал? А?

Но шофер, не слушая, опустил на корточки и, к удивлению друга, наклонил свою голову почти к самой земле.

– Что там? – спросил Горыч, с трудом подавив желание еще чуток поговорить о лунных дорожках.

– Грибок! – сказал шофер.

– Что?! – Горыч тоже присел на корточки и увидел настоящий гриб на крепкой ножке с толстой коричневой шапкой.

И замолчали они, очумело глядя на гриб, видно, совсем недавно поднявшийся над поверхностью земли. Горыч потыкал пальцем землю вокруг грибка и перевел взгляд на товарища.

– Здесь, кажется, был дождь! – сказал он шепотом, потом поднялся на ноги. – Пошли назад.

Идти навстречу лучу было очень тяжело. Хоть и закрывали они глаза руками, но слезы все равно скатывались по щекам, опадая соленым дождем на обестравленную землю. Казалось, что идут они не против света, а против ветра, против течения. С каждым шагом чувство усталости усиливалось.

Следом за ними, так же медленно и устало, продвигались их удлинённые низким источником света тени.

## 9

Путь, ведущий вниз, был легок и приятен. Харитонов шагал легко и широко. За спиной болтался полупустой вещмешок, к ляжке которого был привязан конец шнура. Первые недели Харитонов почти каждый час хватался за шнур – проверял, не оторвался ли, – но со временем так привык к крепости узла, что уже и в мыслях не представил бы себе, что вдруг когда-нибудь прервется или нарушится его бикфордова связь с динамитом, оставшимся ждать решения своей судьбы на далеком берегу Японского моря. Шнур не был ношей и никак не затруднял движения одинокого таежного странника, успевшего на своем пути побывать в двойном вражеском окружении и благодаря доброй случайности выйти из этого окружения живым.

Путь, ведущий вниз, был легок и радовал Харитонova учащающимися признаками природной жизни. Быть может, оттого, что склон находился на солнечной стороне, трава здесь была гуще и ярче, из травы торчали шляпки грибов. И уж совсем независимо от солнца к шороху ветра примешивались крики птиц.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.